

ГЛАВА I.

Шестидесятые годы.

Чернышевскій, Добролюбовъ, Писаревъ.

Въ физической химіи есть законъ, извѣстный подъ именемъ закона Лешателье; онъ гласитъ, что всякое дѣйствіе на нѣкоторую систему вызываетъ въ послѣдней явленія, противодѣйствующія этому дѣйствію. Законъ этотъ приложимъ и къ соціальной „молекулярной физикѣ“ точно такъ же, какъ знаменитый ньютоновскій законъ о дѣйствіи и противодѣйствіи приложимъ къ соціальной механикѣ.

Всякій государственный гнетъ неизбежно вызоветъ противодѣйствіе общества, тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ сильнѣе было давленіе: такъ гласитъ законъ Ньютона въ его примѣненіи къ соціальной статикѣ. Законъ Лешателье обращаетъ вниманіе на явленія промежуточные между дѣйствіемъ и противодѣйствіемъ. Почему частыя войны сопровождаются увеличеніемъ рождаемости въ странѣ? почему результатомъ чрезмѣрнаго развитія индивидуальности является ослабленіе производительной силы? На это „почему?“ — нѣтъ отвѣта, но законъ Лешателье объединяетъ собою всѣ такія явленія, заявляя, что послѣ каждаго общественнаго или индивидуальнаго напряженія въ какомъ бы то ни было направленіи, въ обществѣ или въ индивидѣ неизбежно возникнутъ противодѣйствующія этому напряженію силы. Такъ, на примѣръ, быстрый ростъ культуры въ странѣ, какъ это показываетъ статистика, всегда сопровождается уменьшеніемъ рождаемости, что въ будущемъ ведетъ къ замедленію роста культуры; обратно, всякая реакція, всякое замедленіе культурнаго роста страны увеличиваетъ въ послѣдней рождаемость, что въ будущемъ ведетъ къ усиленію роста культуры. Точно также государственное

давленіе, клонящееся къ приниженію личности и подавленію общества, неизбѣжно вызываетъ въ послѣднихъ нарастаніе силъ, направленныхъ къ возвеличенію личности и росту общественнаго значенія.

Аналогія ничего не доказываетъ и ничего не объясняетъ; она только иллюстрируетъ и поясняетъ. Но въ данномъ случаѣ наша цѣль другая: мы хотимъ приложеніемъ закона Лешателье къ системѣ официального мѣщанства и къ движенію шестидесятыхъ годовъ подчеркнуть стихійность этого движенія и тѣмъ самымъ указать, что мы не придаемъ интеллигенціи исключительной созидательной роли въ исторіи общественныхъ движеній, хотя и признаемъ ея творчество въ исторіи русской общественной мысли.

Система официального мѣщанства должна была погибнуть. Нельзя было сражаться кремневыми ружьями противъ штуцеровъ; нельзя было оставаться при системѣ натурального хозяйства при господствѣ вокругъ хозяйства денежнаго. Чѣмъ дальше развивалась система официального мѣщанства, имѣвшая своей точкой опоры крѣпостное право и связанную съ нимъ экономическую систему, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе оказывались противодѣйствующія этой политической и экономической системѣ общественныя силы. Крымскій погромъ былъ только показателемъ „всей гнили правительственной системы, всѣхъ послѣдствій удушающаго принципа“, по выраженію И. Аксакова. Нужны были новые мѣха для новаго вина.

19-е февраля 1861 г. было величайшимъ днемъ всей русской исторіи XIX-го вѣка, днемъ выполненія minimum-программы русской интеллигенціи, начиная съ Новикова и Радищева и кончая Бѣлинскимъ и Герценомъ. Конечно, выполненіе это было произведено ниже всякой критики, или невѣжественными, или явно заинтересованными людьми; извѣстно, что именно 19-ое февраля повело къ окончательному разрыву между правительствомъ и интеллигенціей. Интеллигенція видѣла, что рабство замѣнено экономической кабалой, что крестьянскія земли обрѣзаны въ пользу помѣщика, что выкупная сумма вздута до невѣроятныхъ размѣровъ (по безупречнымъ вычисленіямъ Чернышевскаго, выкупная сумма колебалась въ предѣлахъ отъ 400 до 800 милл. рубл., считая въ этой суммѣ и проценты на погашеніе; правительство не постѣснилось увеличить эту сумму втрое и вчетверо). Все это такъ, и этой неудачной реформой сверху объясняются всѣ дальнѣйшія попытки революціи снизу въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ; но все-таки мы должны оцѣнить если не эту вынужденную и куцую реформу, то самый фактъ освобожденія человека.

Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ? — спрашивалъ великій поэтъ той эпохи; отвѣчая ему, мы можемъ перевернуть его вопросъ: народъ не счастливъ, но онъ освобожденъ. И русская интеллигенція сейчасъ же начала тяжелую борьбу за народное счастье, за народные интересы, за экономическую свободу народа, — борьбу, возможную только послѣ освобожденія народа изъ-подъ крѣпостного ига.

И борьба эта нуждалась въ новомъ знамени. Бороться за свободу народа отъ крѣпостного рабства можно было и подъ знаменемъ славянофильства, и подъ знаменемъ западничества; рука объ руку шли въ эту борьбу и Хомяковъ, и Бѣлинскій, и Аксаковъ, и Герценъ, такъ же, какъ шли передъ ними и декабристы, и интеллигенція XVIII-го вѣка. Но теперь, послѣ 19-го февраля, положеніе дѣлъ существенно измѣнилось; необходимо должна была произойти болѣе рѣзкая дифференціація въ средѣ русской интеллигенціи: въ борьбѣ за экономическую свободу народа безповоротно разошлись между собой эпигоны стараго западничества политическіе и экономическіе либералы шестидесятыхъ годовъ, и молодое поколѣніе русской интеллигенціи этой эпохи. *Начиная съ шестидесятыхъ годовъ, русская интеллигенція становится въ своемъ болышинствѣ социалистической, и такимъ образомъ во второй половинѣ XIX-го вѣка борьба за интересы народа, за его свободу и счастье ведется подъ знаменемъ социализма.* Родоначальниками социализма въ Россіи были Бѣлинскій и Герценъ; въ концѣ эпохи официальнаго мѣщанства въ социалистическомъ „заговорѣ идей“ петрашевцевъ оказывается такъ или иначе замѣшано до 300-тъ лицъ; уже одно это показываетъ, что социалистическое направленіе русской интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ не было какимъ-то *deus ex machina*, и что появленіе такого замѣчательнаго представителя русскаго социализма, какимъ былъ Чернышевскій, было вполне подготовлено всѣмъ предшествующимъ ходомъ развитія русской общественной мысли, какъ мы это и видѣли выше. Мы скоро увидимъ, что главнымъ пунктомъ расхожденія между социалистической и несоциалистической частью русской интеллигенціи была дилемма: національное богатство или народное благосостояніе? Это были двѣ разныхъ системы пониманія экономической свободы; два разныхъ метода борьбы за народное счастье; будущее принадлежало, конечно, наиболѣе конкретной изъ этихъ системъ, наиболѣе реальному изъ этихъ методовъ.

Социалистическія настроенія могли быть и были доступными русской интеллигенціи эпохи официальнаго мѣщанства, когда имъ

проникались десятки высшихъ представителей интеллигенціи; но стать массовымъ социалистическое теченіе могло только тогда, когда интеллигенція стала въ большинствѣ демократичной по составу. Это случилось въ шестидесятыхъ годахъ, когда громадной толпой „разночинець пришелъ“, по знаменитому выраженію Михайловскаго; „мыслящій пролетаріатъ“, какъ называлъ интеллигентныхъ разночинцевъ Писаревъ, сталъ главнымъ носителемъ социалистическихъ стремленій. Характерно при этомъ то, что носителемъ и выразителемъ якобы классовой доктрины сталъ внѣсословный и внѣклассовый слой общества; *съ этого времени русская интеллигенція становится внѣклассовой и внѣсословной по своему составу.* Мы уже отмѣчали (см. Введеніе), что не случайнымъ совпаденіемъ является и возникновеніе именно въ это время самаго термина „интеллигенція“: новыя слова создаются тогда, когда того требуютъ новыя понятія. Съ этихъ поръ начинается главная часть исторіи русской интеллигенціи, а значить и исторіи русской общественной мысли: XVIII-ый вѣкъ былъ предисловіемъ, въ первой половинѣ XIX-го вѣка была намѣчена дорога, и только во второй половинѣ XIX-го вѣка русская общественная мысль распустилась полнымъ цвѣтомъ.

Мы сказали, что социалистическое теченіе русской мысли шестидесятыхъ годовъ было подготовлено всѣмъ ходомъ предыдущаго развитія. Какимъ образомъ однако могло это теченіе стать господствующимъ среди русской интеллигенціи въ то время, когда даже на Западѣ оно отнюдь не было ни сильнымъ, ни господствующимъ? Это объясняется совершеннымъ различіемъ социального строенія Россіи той эпохи и любой изъ другихъ крупныхъ европейскихъ странъ (исключая развѣ только Италію): Россія въ это время только-что собиралась переходить отъ натурального хозяйства къ денежному, а потому въ ней, относительно говоря, не было буржуазіи, не было „третьяго сословія“ какъ экономической и политической силы. Во Франціи буржуазія была настолько сильна политически, что уже въ концѣ XVIII-го вѣка могла произвести величайшій въ исторіи переворотъ; во второй четверти XIX-го вѣка она уже настолько была сильна экономически, что могла считать выгодными для себя фритредерскія проповѣди Бастіа, пользовавшіяся большимъ успѣхомъ. Въ Россіи же буржуазія въ серединѣ XIX-го вѣка была еще настолько *quantité négligeable*, что сама стояла за то же фритредерство и теоріи экономического либерализма! Поистинѣ — крайности сходятся! Франція уже нуждалась во внѣшнихъ рынкахъ для вывоза, Россія еще нуждалась во внѣшнихъ рынкахъ для ввоза; и въ томъ

и въ другомъ случаѣ интересы буржуазіи требовали, вообще говоря, уничтоженія таможенныхъ препятствій. Этимъ объясняется временное увлеченіе теоріями экономическаго либерализма; этимъ объясняется и либеральный таможенный тарифъ 1857 года. Интересно отмѣтить, что вмѣстѣ съ ростомъ русской буржуазіи въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ все большій и большій вѣсь приобретаютъ протекціонистскія теоріи; въ девяностыхъ годахъ, въ эпоху расцвѣта покровительствуемой промышленности, господствуетъ уже суровый протекціонный тарифъ 1892 года. Это показываетъ, что къ тому времени русская буржуазія успѣла вырости настолько, чтобы нуждаться въ охранѣ внутренняго рынка, хотя и не настолько, чтобы дерзнуть возвратиться къ фритредерскимъ теоріямъ. Какъ бы то ни было, но фактъ налицо: къ началу шестидесятыхъ годовъ буржуазія въ Россіи была *quantité négligeable*. Это объясняетъ намъ возможность яркаго социалистическаго настроенія русской интеллигенціи: въ то время еще не было „интеллигенціи буржуазной“; если возможно такое словосочетаніе, или она была крайне немногочисленна. Безсознательными (а отчасти и сознательными) идеологами буржуазіи были эпигоны западничества, съ которыми мы уже отчасти знакомы; мы еще прослѣдимъ за той ожесточенной борьбой, которую велъ съ ними величайшій представитель русской социалистической мысли—Чернышевскій.

Къ знакомству съ Чернышевскимъ мы теперь и приступимъ, слегка намѣтивъ сперва главные этапные пункты во внѣшней исторіи шестидесятыхъ годовъ. Шестидесятью годами мы называемъ періодъ времени отъ 1856 г. до приблизительно 1866—1868 г., до выстрѣла Каракозова, до рѣзкой реакціи, послѣдовавшей послѣ этого, до расцвѣта писаревщины и нигилизма (послѣднее „до“ надо понимать включительно). Этотъ періодъ времени рѣзко дѣлится на двѣ половины, рубежомъ которыхъ служитъ 1861 г. Первая половина шестидесятыхъ годовъ—это періодъ надеждъ, періодъ вѣры въ добрыя намѣренія правительства; „ты побѣдилъ, галилеянинъ!“—восклидалъ тогда Герценъ, обращаясь къ Александру II (въ 1858 г.). Но уже черезъ два года послѣ этого настроеніе большинства русской интеллигенціи было совершенно инымъ; впоследствии Чернышевскій (въ „Прологъ къ прологу“, 1877 г.) ярко выяснилъ, какъ мало-по-малу русская интеллигенція разочаровывалась въ „добрыхъ намѣреніяхъ“ правительства, потому что видѣла, что эти добрыя намѣренія изъ рода тѣхъ, которыми, по поговоркѣ, вымощенъ адъ. Какъ видимъ, почти буквально повторилась исторія двадцатыхъ го-

довъ и декабризма, начавшаго съ адресовъ царю и съ вѣры въ „доброжелательство правительства“, а кончившаго переходомъ съ легальнаго пути на „нелегальный“. Такъ случилось и въ шестидесятихъ годахъ, ибо во всякомъ случаѣ купая реформа 19-го февраля не удовлетворила собою русскую интеллигенцію, для которой теперь ясна была необходимость перехода съ легальнаго пути на путь революціонный; съ 1861 года начинается вторая половина шестидесятихъ годовъ. Появляется (1861 г.) первая знаменитая прокламація Михайлова „Къ молодому поколѣнію“; за нею быстро слѣдуетъ цѣлый рядъ другихъ прокламацій, призывающихъ къ возстанію подъ знаменемъ „земли и воли“. Организация „Земля и Воля“ возникаетъ въ 1863 г. и объединяетъ собою всѣ отдѣльные революціонные кружки. Въ первой прокламаціи „Земли и Воли“ указывается, что, „выступая на борьбу съ правительствомъ за права народныя, народный комитетъ въ настоящее время ставитъ себѣ одной изъ задачъ привлеченіе образованныхъ классовъ на сторону интересовъ народа, а значить и своихъ собственныхъ“... Такимъ образомъ народники шестидесятихъ годовъ стояли на томъ же принципѣ „интересовъ народа“, который впоследствии былъ развитъ критическимъ народничествомъ семидесятихъ годовъ; указаніемъ тождественности интересовъ народа и интеллигенціи шестидесятники открывали дверь центральной идеѣ міровоззрѣнія Михайловскаго, его двуединому критерию интересовъ личности и интересовъ народа, о чемъ у насъ еще будетъ рѣчь впереди.

Нѣкоторое, такъ сказать, педагогическое значеніе всѣхъ этихъ прокламацій несомнѣнно, но большаго значенія въ то время онѣ не имѣли и не могли имѣть: впервые послѣ долгихъ лѣтъ русская интеллигенція выступала на революціонный путь и шла еще ощупью. Внѣшнія обстоятельства однако на время остановили всякое движеніе по этому пути. Разгромъ Польши въ 1863—64 гг., разгромъ „Земли и Воли“ въ 1864—1866 гг. ознаменовали собою конецъ эпохи шестидесятихъ годовъ; судебная и земская реформа того же времени отчасти примирила съ правительствомъ русское „культурное“ общество... Революціонная интеллигенція была изолирована и обезсилена; ея послѣдней попыткой было покушеніе Каракозова (4 апр. 1866 года), послѣ чего послѣдовавшій „бѣлый терроръ“ завершилъ собою шестидесятыя годы. Новая эпоха началась только въ 1872 г., когда началось знаменитое „хождение въ народъ“; предшествующими фактами были: въ области литературы—появленіе „Историческихъ писемъ“ Лаврова, сыгравшихъ большую роль въ

дѣль организаціи интеллигентскихъ группъ, а въ области революціонныхъ фактовъ — нечаевское дѣло, и еще болѣе того нечаевскій процессъ, сыгравшій громадную пропагандистскую роль, совершенно неожиданно для правительства. Но все это относится уже къ эпохѣ семидесятыхъ годовъ.

Въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ властителями мысли русской интеллигенціи были Герценъ, Чернышевскій и Добролюбовъ. „Колоколъ“ Герцена звалъ къ себѣ живыхъ и пробуждалъ своимъ звономъ не только русскую интеллигенцію, но и „культурное“ общество... 1861 годъ — апогей вліянія Герцена; во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ оно быстро клонится къ упадку: въ 1861—1863 гг. русская интеллигенція начинаетъ считать Герцена недостаточно революціоннымъ (это началось еще съ извѣстнаго письма къ Герцену ¹⁾), въ „Колоколѣ“ отъ 1 марта 1860 г.): послѣ 1863—64 гг. русское „культурное“ общество начинаетъ считать Герцена слишкомъ революціоннымъ... Вліяніе его падаетъ; конецъ шестидесятыхъ годовъ ознаменованъ медленнымъ угасаніемъ оторваннаго отъ родной почвы гиганта Антея...

Чернышевскій раздѣлялъ вмѣстѣ съ Герценомъ въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ мѣсто во главѣ русской интеллигенціи; онъ былъ главнымъ представителемъ русской социалистической мысли; его отношеніе въ этомъ случаѣ къ Герцену будетъ нами разобрано ниже. Здѣсь достаточно указать, что вліяніе и значеніе Чернышевскаго быстро возрастало ко второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ: правительство поняло это и поспѣшило отдѣлаться отъ опаснаго врага. Лѣтомъ 1862 года онъ былъ арестованъ, обвиненъ на основаніи завѣдомо подложныхъ документовъ и затѣмъ сосланъ въ каторжныя работы.

Приблизительно въ это же время умеръ Добролюбовъ (17 ноября 1861 г.). Конечно, его значеніе въ исторіи русской общественной мысли не можетъ быть и сравниваемо со значеніемъ Герцена или Чернышевскаго; однако онъ играетъ слишкомъ замѣтную роль въ исторіи русской литературы, чтобы намъ можно было обойти его молчаніемъ: его значеніе велико именно въ области тѣхъ вопросовъ, которыхъ только мимоходомъ касались Герценъ и Чернышевскій.

Смерть Добролюбова и убійство Чернышевскаго (трудно назвать иначе преступную ссылку его) стоять на рубежѣ между первой и

¹⁾ Письмо это приписывалось Чернышевскому.

второй половиной шестидесятых годов, относясь къ 1861—62 гг. Вторая половина шестидесятых годов ознаменована вліяніем Писарева, расцвѣтомъ „писаревщины“ и господствомъ нигилизма. Обо всемъ этомъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ, а теперь перейдемъ къ детальному знакомству съ ходомъ развитія русской общественной мысли въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Иными словами, мы переходимъ къ знакомству съ глубокимъ міровоззрѣніемъ Чернышевскаго.

Мы видѣли, какъ Бѣлинскій, раскланявшись съ гегельянскою „разумной дѣйствительностью“, пришелъ въ началѣ сороковыхъ годовъ къ „соціальности“ и къ социализму; какъ Герценъ, извѣрившись и въ утопическомъ социализмѣ и въ возможности социальнаго переворота, сталъ родоначальникомъ народничества, этого „русскаго социализма“¹⁾. Чернышевскій пошелъ далѣе по пути, намѣченному Герценомъ; онъ придалъ народничеству научную форму, освободилъ его отъ тѣхъ субъективныхъ надстроекъ, которыя объяснялись личными переживаніями Герцена; онъ былъ главнымъ выразителемъ социалистическаго направленія русской интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ. И прежде всего надо указать на то, что утопическимъ социалистомъ Чернышевскій не былъ никогда. Русская интеллигенція пережила и почувствовала утопическій социализмъ въ лицѣ прежде всего Бѣлинскаго, а затѣмъ—петрашевцевъ; уже Герценъ, послѣ 1848 года, смѣло вступилъ своими теоріями на путь социализма реальнаго; Чернышевскій, конечно, не могъ вернуться назадъ. Если въ его романѣ „Что дѣлать?“ (1862—63 гг.) конечныя цѣли социализма ярко раскрашены всѣми цвѣтами фурьеризма, то не надо забывать, для какого читателя Чернышевскій писалъ свой романъ:

¹⁾ Это словосочетаніе — „русскій социализмъ“ — подверглось впоследствии насмѣшливой критикѣ, основывавшейся на томъ, что научный социализмъ—единъ и не можетъ быть ни французскимъ, ни русскимъ, такъ же какъ нѣтъ и не можетъ быть русской арифметики или французской физики.. Въ этомъ есть доля правды: социологія, эта „наука будущаго“—едина, но законы ея будутъ приложимы въ различныхъ социальныхъ условіяхъ, а значить и съ различными результатами; социализмъ долженъ сообразоваться съ ними, и дѣйствительно сообразуется. Въ зависимости отъ своеобразности и различія условій социальной среды, есть социализмъ англо-саксонскій (характеризуемый трэдъ-юнионизмомъ), французскій (въ различныхъ видахъ гедизма, аллеманизма, малонизма и др.), германскій (якобы „единственно-научный“ и воплощенный въ марксизмѣ); существовать и русскій социализмъ, воплощенный въ народничествѣ и связанный непрерывной традиціей отъ Герцена черезъ Чернышевскаго, Лаврова, Михайловскаго къ современнымъ намъ социалистамъ-революціонерамъ.

романъ этотъ — намеренно лубочное произведеніе, написанное исключительно съ пропагандистской цѣлью. „Читай, добрѣйшая публика! прочтешь не безъ пользы. Истина — хорошая вещь! — насмѣшливо обращается къ своей аудиторіи Чернышевскій: — ... ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива... Тебѣ, проницательный читатель, я скажу, что это (рѣчь идетъ про Рахметова) — не дурные люди; а то вѣдь ты, пожалуй, не поймешь самъ-то!..“ Если бы, пропагандируя передъ подобной аудиторіей социализмъ, Чернышевскій дошелъ бы даже, вслѣдъ за Фурье, до пресловутыхъ анти-львовъ, анти-акулъ и морей изъ лимонада, то и въ такомъ случаѣ трудно было бы обвинить его (какъ социолога, а не романиста) въ приверженности къ утопическому социализму. Въ отвѣтъ на такое обвиненіе достаточно указать хотя бы только на отзывъ Чернышевскаго о системахъ утопическаго социализма въ VI-й главѣ „Очерковъ гоголевскаго періода русской литературы“ („Современникъ“ 1856 г., № 9), и на еще болѣе рѣзкій отзывъ въ статьѣ „Studien, Гакстгаузена“ (Ib., 1857 г., № 7). Утопическій социализмъ, говоритъ Чернышевскій, пережилъ самъ себя; сражаться съ нимъ въ срединѣ XIX вѣка такъ же смѣшно, какъ, на примѣръ, начать ожесточенную борьбу съ идеями Вольтера: все это дѣла давно минувшихъ дней, дѣла временъ очаковскихъ и покоренья Крыма.

Итакъ, народничество Чернышевскаго (мы еще убѣдимся ниже, что его міровоззрѣніе было именно народничествомъ) носило вполне реальную окраску; мы увидимъ, что Чернышевскій освободилъ русскій социализмъ отъ двухъ-трехъ чертъ утопизма, приданныхъ народничеству Герценомъ, въ родѣ признанія поголовнаго мѣщанства Европы и убѣжденія въ анти-мѣщанствѣ крестьянскаго тулупа. Отъ этихъ болѣе чѣмъ проблематическихъ положеній Чернышевскій перенесъ центръ тяжести народничества въ совершенно другую сторону; именно онъ обратилъ главное вниманіе на противопоставленіе „націи“ и „народа“, противопоставленіе, замѣченное нами въ скрытой формѣ еще у Радищева; мы видѣли также, что отсутствіе этого противопоставленія, смѣшеніе понятій „націи“ и „народа“ составляло одну изъ главныхъ ошибокъ славянофильства. У Герцена мы нашли только нѣсколько штриховъ, касающихся этихъ понятій; теперь у Чернышевскаго мы увидимъ ясное ихъ раздѣленіе. Въ западно-европейскомъ социализмѣ понятія націи и народа впервые были окончательно разграничены Энгельсомъ, а вслѣдъ за нимъ и Марксомъ; въ русскомъ социализмѣ вполне самостоятельно пришелъ къ этой мысли Чернышевскій.

Впервые Чернышевскій коснулся этого вопроса, защищая принцип общиннаго владѣнія; въ отдѣлѣ „Замѣтки о журналахъ“ („Совр.“ 1857 г., № 5) Чернышевскій, пользуясь своимъ любимымъ „гипотетическимъ методомъ“, дѣлаетъ слѣдующія интересныя выкладки ¹⁾. Онъ готовъ согласиться, что общинное землепользованіе уступаетъ по цѣнности производства обработкѣ земли собственникомъ почти въ два раза; пусть десятина общинная даетъ 12 р. дохода, а десятина владѣльческая — 20 р. дохода. (Въ статьяхъ „О поземельной собственности“, „Совр.“ 1857 г., №№ 9 и 11, Чернышевскій доказалъ, что предполагаемая имъ цифры могли бы быть измѣнены только въ сторону уменьшенія разности между двумя вышеприведенными случаями дохода). Предположимъ теперь, что мы имѣемъ случай изучать два участка земли по 5000 десят. въ каждомъ, одинъ съ общиннымъ землепользованіемъ, другой—собственнической, причемъ послѣдній раздѣленъ на 30 арендаторскихъ участковъ съ улучшеннымъ хозяйствомъ. Очевидно, что общая цѣнность производства на первомъ участкѣ будетъ 60.000 р., а на второмъ — 100.000 р. Такова цѣнность производства; но Чернышевскій переходитъ къ изученію системъ *распределенія*. Предполагая, что на обоихъ участкахъ плотность населенія одинакова (напримѣръ, 400 семей, принимая семью за единицу); предполагая, что изъ 20 р. дохода съ десятины владѣльческой земли 5 р. идетъ въ арендную плату, 6 р. на уплату рабочимъ семьямъ и 9 р. остаются въ пользу арендатора—не трудно вычислить, что при общинномъ землепользованіи каждая изъ четырехсотъ семей получить по 150 р. въ годъ; на владѣльческомъ же участкѣ одна семья (землевладѣлецъ) получить 25.000 р., 30 семей (арендаторы) по 1.500 р. и 369 семей (наемные работники) по 81 р. 30 к. Отсюда заключительный выводъ: цѣнность производства на владѣльческомъ участкѣ почти вдвое выше, чѣмъ на общинномъ (100.000 : 60.000), а благосостояніе трудящейся массы, народа, на общинномъ участкѣ почти вдвое выше, чѣмъ на владѣльческомъ (150 : 81³/10). „Что кому милѣе, тотъ тому и отдаетъ предпочтеніе“, — иронически замѣчаетъ Чернышевскій, придя къ такому выводу.

И это — центральный пунктъ народничества Чернышевскаго; *національное богатство или народное благосостояніе?* — такова поставленная имъ дилемма, таково противопоставленіе понятій „нація“

¹⁾ Въ приводимыхъ выкладкахъ нами исправлены явно ошибочныя цифры Чернышевскаго.

и „народъ“; Чернышевскій ясно вскрылъ различіе этихъ понятій, указавъ на равенство отношеній націи къ народу и производства къ распредѣленію. Очевидно, какъ рѣшалъ Чернышевскій имъ же самимъ поставленную дилемму: „...мы всегда готовы стать на сторонѣ той партіи,—писалъ онъ,—которая успѣетъ доказать, что ея рѣшеніе вопроса сообразнѣе съ народнымъ благосостояніемъ“ („Совр.“ 1857 г., № 6; Библиографія); но тутъ же надо подчеркнуть, что Чернышевскій неоднократно настаивалъ на условномъ смыслѣ поставленной имъ дилеммы: онъ никогда не противопоставлялъ безусловно націю народу, богатство — благосостоянію, систему наибольшаго производства — системѣ наивыгоднѣйшаго распредѣленія. Если социальныя условія страны таковы, что національное богатство и народное благосостояніе сталкиваются лбами, то не колеблясь ни одной минуты надо стать на сторону народнаго благосостоянія: таковъ дѣйствительный смыслъ дилеммы Чернышевскаго; но отсюда еще далеко до утвержденія, что подобное столкновеніе всегда имѣетъ мѣсто. „Умноженіе народнаго (т.-е. національнаго) капитала — это то же самое, что возвышеніе народнаго благосостоянія, если понимать слово „капиталь“ въ его истинномъ смыслѣ“..., говоритъ Чернышевскій, прибавляя, что подѣ капиталомъ надо понимать не только массу звонкой монеты, фабрики, машины, товары и проч. („Совр.“ 1857 г., № 10; Критика); впоследствии, въ своихъ знаменитыхъ примѣчаніяхъ къ „Основаніямъ полит. экономіи“ Милля („Совр.“ 1860 г.), Чернышевскій опредѣлялъ капиталъ какъ „продукты труда, которые служатъ средствами для новаго производства“. Почти одновременно съ Чернышевскимъ подобное положеніе высказалъ и К. Марксъ, заявляя, что нѣкоторая сумма цѣнностей тогда только превращается въ капиталъ, когда она „sich verwertet“, т.-е. затрачивается въ предпріятіе, образуя прибавочную цѣнность, когда оно воспроизводится съ извѣстной надбавкой. И Марксъ и Чернышевскій оба заимствовали свое опредѣленіе капитала у Рикардо, причемъ Марксъ, подѣ влияніемъ Родбертуса, нѣсколько видоизмѣнилъ, а Чернышевскій заимствовалъ почти буквально; сильное влияніе Рикардо — это надо отмѣтить — сказывается на всѣхъ экономическихъ воззрѣніяхъ Чернышевскаго. Какъ бы то ни было, но Чернышевскій не противъ капитала, не противъ національнаго богатства, *если* послѣднее идетъ на пользу народному благосостоянію. Приведемъ для доказательства этого еще двѣ характерныя для Чернышевскаго выкладки.

Въ своемъ четвертомъ замѣчаніи („Обзоръ отдѣла о трудѣ“)

къ тремъ первымъ главамъ Милля Чернышевскій указываетъ на возможность увеличенія національнаго богатства во много разъ при одновременномъ уменьшеніи народнаго благосостоянія. Предположимъ, что въ обществѣ изъ 4000 чел. имѣется 1000 взрослыхъ работниковъ, изъ которыхъ каждый производитъ въ годъ по 25 четв. пшеницы, причемъ эти 25 четв. пшен. равноцѣнны $\frac{1}{10}$ фунта золота. Капитализируя эту цѣнность, напримѣръ, изъ 5⁰/₀, мы безъ труда найдемъ, что ежегодное производство общества представляетъ изъ себя проценты съ денежнаго эквивалента въ 50 пуд. золота, что и можетъ служить мѣрою „національнаго богатства“ страны¹⁾. Предположимъ теперь, что 200 чел. изъ взрослыхъ мужчинъ покинули общество и что изъ нихъ вернулись обратно 150 чел., и вернулись разбогатѣвшими: каждый привезъ съ собою по пуду золота. Чѣмъ будетъ теперь измѣряться „національное богатство“ этого общества? Если даже допустить, что прибывшіе полтора ста богачей не оторвутъ отъ производительнаго труда ни одного изъ взрослыхъ работниковъ (что мало вѣроятно), то все же послѣднихъ всего 800 чел.; капитализируя по прежнему проценту ежегодное производство общества, мы получимъ мѣру національнаго богатства въ 40 пуд. золота, къ которымъ надо прибавить еще 150 пуд. золота, ввезеннаго въ страну. Итакъ, теперь національное богатство измѣряется 190 пуд. золота, т.-е. оно увеличилось въ $3\frac{4}{5}$ раза. Обратимся теперь къ народному благосостоянію. Въ первомъ періодѣ 25.000 ежегодно производимыхъ четвертей пшеницы распределялись на 4000 чел., а значитъ на каждого приходилось $6\frac{1}{4}$ четв. пшеницы; во второмъ періодѣ ежегодно производятся 20.000 четв. пш. на 3950 чел., т.-е. въ среднемъ на каждого около $5\frac{1}{16}$ четв. пш. Не трудно видѣть, что народное благосостояніе уменьшилось приблизительно въ $1\frac{1}{4}$ раза.

Это случай, когда національное богатство и народное благосостояніе сталкиваются между собою и когда передъ нами во всей ея остротѣ стоитъ дилемма: или—или²⁾.

Возьмемъ теперь другой случай: то же самое общество въ другой стадіи его развитія. Пусть передъ нами снова прежнее ко-

¹⁾ Не трудно вычислить, что ежегодное производство страны—25.000 четв. пш., которыя эквивалентны $2\frac{1}{2}$ пуд. золота; капитализируя, имѣемъ $x = \frac{2\frac{1}{2} \cdot 100}{5} = 50$ пуд. зол.

²⁾ Очевидно, что чѣмъ болѣе мы бы брали процентъ капитализаціи, тѣмъ больше было бы увеличеніе національнаго богатства; легко было бы пога-

личество населенія (4000 чел.) и тысяча взрослых работников; пусть изъ нихъ только 600 человекъ заняты производительнымъ трудомъ, а остальные 400 взрослых работников заняты непроизводительнымъ трудомъ (вмѣсто терминовъ „производительный“ и „непроизводительный“ Чернышевскій всегда употребляетъ термины „выгодный“ и „убыточный“), причемъ всѣ они вмѣстѣ получаютъ 100.000 р., т.-е. на занятіе каждаго изъ нихъ работою употребляется покупательная сила въ 100 рублей. Капиталь страны заключается въ пшеницѣ, которой въ обществѣ находится 25.000 четв. (т.-е. попрежнему $6\frac{1}{4}$ четв. на жителя) и покупательной силой для которой служатъ вышеуказанные 100.000 рубл. (т.-е. цѣна пшеницы 4 р. четверть). Положимъ теперь, что одинъ изъ жителей покинулъ общество и вернулся, привезя съ собою 100.000 р., которыя онъ хочетъ вложить въ землю. Отъ этихъ ста тысячъ рублей капиталъ страны не увеличился ни на одно пшеничное зерно, но прибавилось на сто тысячъ покупательной силы. Слѣдствія будутъ слѣдующія: прежде, при покупательной силѣ въ сто тысячъ рублей, непроизводительнымъ трудомъ занимались 400 человекъ изъ тысячи, на чтѣ употреблялось 40.000 р., т.-е. 40% всей покупательной силы, а на производительный трудъ оставалось 60% покупательной силы. Теперь вся покупательная сила — двѣсти тысячъ рублей, причемъ всѣ новыя сто тысячъ обращены волею владѣльца на производительный трудъ; на непроизводительный трудъ идетъ попрежнему 40.000 р., но теперь они составляютъ только 20% всей покупательной силы и поэтому въ состояніи отвлечь отъ производительнаго труда къ непроизводительному уже не 400, а только 200 работниковъ; остальные 800 раб. получаютъ за производительный трудъ остальные 160.000 р. На первый годъ существуетъ для продажи только 25.000 четв. пшеницы и работники имѣютъ 200.000 р., чтобы заплатить за это количество хлѣба. Цѣна четверти будетъ 8 р., т.-е. вдвое больше, но трудъ каждаго работника даетъ теперь не 100, а 200 рублей, т.-е. также вдвое больше, такъ что пока ни капиталъ страны не увеличился, ни работники не выиграли. Но въ теченіе года занимались производствомъ пшеницы не 600 работниковъ, какъ прежде, а 800 раб.; поэтому, если 600 раб. произвели 25.000 четв. пшен., то 800 раб. произведутъ $33.333\frac{1}{3}$ четв.

затъ, что въ данномъ случаѣ увеличеніе это выразится формулой $y = \frac{3a + 4}{5}$, гдѣ

a —процентъ капитализаціи.—Замѣтимъ кстати, что мы нѣсколько измѣнили форму выкладокъ Чернышевскаго, не измѣняя ихъ сущности.

пшеницы, а значить на каждаго жителя будетъ приходиться уже не $6\frac{1}{4}$ четв., а $8\frac{1}{3}$ четв. Иначе говоря, въ этомъ случаѣ и національное богатство (капиталь) и народное благосостояніе увеличилось въ $1\frac{1}{3}$ раза ¹⁾.

Всѣ эти нѣсколько утомительныя выкладки намъ необходимы для того, чтобы не былъ голословнымъ слѣдующій окончательный выводъ: когда „національное богатство“ тождественно съ „капиталомъ“ (въ смыслѣ, принимаемомъ Чернышевскимъ), то оно не про-

1) Чернышевскій предполагаетъ, вопреки Мальтусу и Рикардо, что масса земледѣльческихъ продуктовъ возрастаетъ по крайней мѣрѣ такъ же быстро, какъ масса рабочихъ силъ, обращенныхъ на земледѣіе. Слѣдуя за Мальтусомъ, пришлось бы взять вмѣсто $33.333\frac{1}{3}$ четв. приблизительно 30.000 четв.—Вышеприведенный примѣръ находится въ прибавленіи „Понятіе капитала“ къ IV, V и VI главамъ Милля. Мы попрежнему измѣнили нѣсколько форму выкладокъ, не измѣняя ихъ сущности. Ниже, въ гл. VI, намъ придется вернуться къ общей постановкѣ этого вопроса, а потому мы считаемъ не лишнимъ дать здѣсь анализъ общаго случая перехода отъ непроизводительнаго труда къ производительному. Предположимъ, что P —покупательная сила страны; число рабочихъ, занятыхъ

производительнымъ трудомъ — n_1 , непроизводительнымъ — n_2 . Тогда $\frac{P}{n_1+n_2}$ есть покупательная сила, употребляемая на занятіе каждаго изъ нихъ работою. Положимъ теперь, что мы желаемъ привлечь $\frac{1}{m}$ часть рабочихъ отъ непроизводительнаго

труда къ производительному, причемъ новая покупательная сила будетъ P_1 ; очевидно, что $P_1=f(m)$. Чтобы представить эту функцію въ явномъ видѣ, замѣтимъ, что, отвлекая $\frac{1}{m}$ часть занятыхъ непроизводительнымъ трудомъ, т.-е. $\frac{n_2}{m}$ ра-

бочихъ, мы оставляемъ при этомъ трудъ $n_2 - \frac{n_2}{m}$ рабочихъ, или иначе: $\frac{m-1}{m} \cdot n_2$ ра-

бочихъ силъ; на каждаго изъ этихъ оставшихся будетъ употребляться новая покупательная сила $\frac{P_1}{n_1+n_2}$, а на всѣхъ ихъ $\frac{m-1}{m} n_2 \cdot \frac{P_1}{n_1+n_2}$. причемъ эта по-

купательная сила должна быть равна той, которая употреблялась раньше на всѣхъ n_2 рабочихъ, когда на каждаго изъ нихъ употреблялась покупательная сила $\frac{P}{n_1+n_2}$, а значить на всѣхъ ихъ $n_2 \cdot \frac{P}{n_1+n_2}$. Отсюда имѣемъ уравненіе

$\frac{m-1}{m} \cdot n_2 \cdot \frac{P_1}{n_1+n_2} = n_2 \cdot \frac{P}{n_1+n_2}$, рѣшая которое, мы получаемъ $P_1 = P \frac{m}{m-1}$. Въ

разобранной нами выкладкѣ Чернышевскаго мы имѣли случай $m=2$ (къ производительному труду отвлекалась половина всѣхъ занятыхъ непроизводительнымъ трудомъ рабочихъ); тогда $P_1=2P$, что мы и видѣли у Чернышевскаго: старая покупательная сила была 100.000 р., новая же 200.000 р. Въ главѣ шестой (см. ниже стр. 352) намъ еще придется воспользоваться выведенной здѣсь формулой и опровергнуть ея одно изъ основныхъ „экономическихъ“ положеній А. Толстого.

тиворѣчить народному благосостоянію; это бываетъ при увеличеніи пропорціи покупательной силы, обращенной на производительный трудъ. Наоборотъ, при уменьшеніи этой пропорціи, и въ томъ случаѣ, когда „національное богатство“ понимается въ смыслѣ „массы цѣнностей“ или „системы наибольшаго производства“ — народное благосостояніе и національное богатство вполнѣ противоположны другъ другу. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, однако, критеріумомъ, рѣшающимъ поставленную дилемму, является система распредѣленія, и это надо особенно подчеркнуть, такъ какъ въ этомъ положеніи скрытъ одинъ изъ наиболѣе важныхъ признаковъ народничества. Примать распредѣлительнаго момента надъ производственнымъ, или, говоря короче, *примать распредѣленія надъ производствомъ* въ экономикѣ — таковъ этотъ принципъ русскаго социализма, впервые если и не формулированный, то ясно проведенный Чернышевскимъ. Не трудно догадаться, что принципъ этотъ былъ направленъ противъ эпигоновъ западничества, русскихъ манчестерцевъ, вся политико-экономическая мудрость которыхъ заключалась въ принципѣ наибольшаго производства. Мы увидимъ, что примать распредѣленія надъ производствомъ и борьба съ системой наибольшаго производства характеризуютъ собою всю дальнѣйшую исторію русскаго народничества, обвиненнаго за это вполнѣ русскимъ марксизмомъ въ „экономической романтикѣ“. Мы увидимъ, что марксизмъ выставлялъ противоположный принципъ примата производства надъ распредѣленіемъ, хотя и съ совершенно иной точки зрѣнія, чѣмъ манчестерство: согласно теоріи Маркса, распредѣленіе средствъ потребления есть лишь слѣдствіе распредѣленія условій производства; мы увидимъ, наконецъ, что въ концѣ концовъ это положеніе, доведенное до крайности ортодоксальнымъ марксизмомъ, было отвергнуто, какъ не отвѣчающее дѣйствительности (см. ниже гл. VI). Какъ бы то ни было, но примать распредѣленія надъ производствомъ остается характерно народническимъ построеніемъ, впервые ясно выраженнымъ еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ Чернышевскимъ.

Итакъ, „капиталъ“ и все связанное съ нимъ не противорѣчитъ народному благосостоянію. Но здѣсь возникаетъ слѣдующій, центральный для народничества вопросъ: тѣ части капитала, которыми передается дѣятельность труда предметамъ обрабатываемымъ его силою, требуютъ раздѣленія труда, которое, съ точки зрѣнія блага реальной личности, можетъ оказаться вполнѣ отрицательнымъ явленіемъ. Съ разрѣшенія этого вопроса началось въ семидесятыхъ годахъ крити-

ческое народничество Михайловскаго, который указаль на необходимость различенія физиологическаго и экономическаго раздѣленія труда; мы будемъ еще говорить объ этомъ подробно (гл. III). Чернышевскій и въ этомъ направленіи впервые намѣтилъ дорогу въ своемъ „Замѣчаніи на главу VIII“ Милля. Онъ ясно видѣлъ „физиологическое послѣдствіе раздѣленія труда при нынѣшнемъ экономическомъ порядкѣ“, заявляя, что „вредное дѣйствіе раздѣленія труда на экономической бытъ и на самый организмъ рабочаго сословія при нынѣшнемъ порядкѣ дѣль не подлежитъ сомнѣнію“; онъ ясно ставилъ этотъ трагическій для народничества вопросъ: „для человѣческаго благосостоянія нужно усиленіе производства, а возрастаніе производства требуетъ раздѣленія труда... Мы имѣемъ двѣ формулы, соединеніе которыхъ даетъ тотъ выводъ: элементъ, развитіе котораго необходимо для благосостоянія, гибеленъ для массы людей своимъ развитіемъ“. Мы увидимъ, какъ отвѣтило на этотъ вопросъ народничество семидесятыхъ годовъ: пусть степень экономическаго развитія страны будетъ ниже, лишь бы типъ ея былъ достаточно высокъ; иными словами это сводилось къ отрицанію благотѣльности экономическаго раздѣленія труда для народнаго благосостоянія. Каковъ бы ни былъ этотъ отвѣтъ, по ему нельзя отказать въ смѣлости и опредѣлительности; это дѣйствительно радикальное рѣшеніе вопроса, смѣлое разсѣченіе гордіева узла. Чернышевскій попытался пройти между Сциллою и Харибдой и далъ рѣшеніе явно — для него же самого — невозможное и непримѣнимое. Бѣда не въ томъ, что необходимо раздѣленіе труда, заявляетъ Чернышевскій, а въ томъ, что это раздѣленіе не проводится достаточно далеко: „при высокомъ раздѣленіи труда нѣтъ работнику никакого затрудненія поочередно переходить отъ одной операціи къ другой, мѣняя ихъ такъ, чтобы организмъ его поочередно работаль всѣми частями“... Крайнюю абстрактность такого рѣшенія вопроса — рѣшенія, впервые даннаго Фурье — сознаеть и самъ Чернышевскій, признавая, что фабриканту невыгодно подобное непостоянство занятій, которое поэтому и неосуществимо при нынѣшнемъ капиталистическомъ строѣ; рѣшеніе Чернышевскаго падаетъ само собою, сохраняя свою силу развѣ только для далекаго будущаго, для эпохи социалистическаго производства. Неудивительно поэтому, что самъ же Чернышевскій склоняется къ тому рѣшенію, которое, какъ мы указали, было дано впоследствии Михайловскимъ, въ его теоріи степеней и типовъ развитія; и въ этомъ случаѣ Чернышевскій является предшественникомъ замѣчательнѣйшаго изъ теоретиковъ русскаго

соціализма семидесятых годовъ, связывая степень и типъ экономическаго развитія (безъ употребленія этихъ терминовъ) съ національнымъ богатствомъ и народнымъ благосостояніемъ. Такъ, на примѣръ, въ статьѣ „Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X“ („Совр.“ 1858 г., № 8) Чернышевскій указываетъ на причину кореннаго расхожденія между либералами и демократами: первые стремятся къ національному богатству, вторые—къ народному благосостоянію. Но какъ же быть послѣднимъ въ томъ случаѣ, если они увидятъ, что „элементъ, развитіе котораго необходимо для благосостоянія, гибеленъ для массы людей своимъ развитіемъ“? Тутъ Чернышевскій уже не удовлетворяется своимъ абстрактнымъ рѣшеніемъ вопроса, но категорически отвѣчаетъ, что „для демократа наша Сибирь, въ которой простонародье пользуется благосостояніемъ, гораздо выше Англии, въ которой большинство народа терпитъ сильную нужду“, выше не по степени, а по типу развитія—прибавить къ этому впослѣдствіи отъ себя Михайловскій.

Такъ рѣшаетъ Чернышевскій поставленную передъ нимъ дилемму въ сторону народнаго благосостоянія. Намъ не для чего долго останавливаться на яркой индивидуалистичности такого рѣшенія; надо только отмѣтить, что „народное благосостояніе“ есть абстрактный критерій, сводящійся въ конечномъ счетѣ къ благу реальной личности. И Чернышевскій неоднократно подчеркивалъ, что въ основѣ всего его міровоззрѣнія лежитъ благо реальнаго человѣка, что человѣческая личность есть наивысшій критерій, къ которому должны быть сведены всѣ выводы строяемыхъ теорій. „Нѣкоторые — заявляетъ Чернышевскій—предполагаютъ для государства цѣль болѣе высокую, нежели потребности отдѣльныхъ лицъ, — именно осуществленіе отвлеченныхъ идей справедливости, правды и т. п. Нѣтъ сомнѣнія, что изъ такого принципа очень легко вывести для государства права болѣе обширныя, нежели изъ другой теоріи, которая говоритъ только о пользѣ частныхъ лицъ; но вообще мы держимся послѣдней, и *выше человеческой личности не принимаемъ на земномъ шарѣ ничего*“. („Экономическая дѣятельность и законодательство“; „Совр.“ 1859 г., № 2; курсивъ нашъ). Цѣль правительства — польза „индивидуальнаго лица“, продолжаетъ далѣе Чернышевскій: „государство существуетъ для блага индивидуальной личности“; „общая норма для оцѣнки всѣхъ фактовъ общественной жизни и частной дѣятельности—«благо человѣка»“, хотя эта формула „указываетъ только цѣль, а не даетъ готовыхъ средствъ къ ея достиже-

нію "... Достаточно и этого немногого, чтобы поставить Чернышевскаго въ одинъ рядъ съ величайшими представителями индивидуализма въ исторіи русской общественной мысли; въ этомъ отношеніи Чернышевскій шелъ вслѣдъ за Бѣлинскимъ и Герценомъ и былъ предтечей Лаврова и Михайловскаго. И если мы уже въ Герценѣ видѣли зачатки того „субъективизма“, которому суждено было дать пышный цвѣтъ въ семидесятыхъ годахъ, то Чернышевскій по своимъ воззрѣніямъ стоитъ еще ближе къ этому „субъективному методу“, заявляя, что „человѣкъ долженъ смотрѣть на все человѣческими глазами“... Далекій отъ „объективнаго“ принципъ — *regeat mundus, fiat justitia*, надъ которымъ такъ зло смѣялся еще Герценъ, Чернышевскій подчеркиваетъ субъективное строеніе понятія правды-справедливости: „справедливо то, что благопріятно правамъ чело-вѣческой личности“... (Ibid.).

Передъ нами вырисовывается яркій *соціологическій индивидуализмъ* Чернышевскаго, характерный вообще для той половины шестидесятыхъ годовъ, въ которой дѣйствовалъ Чернышевскій. Необходимо замѣтить однако, что этотъ соціологическій индивидуализмъ сопровождался у Чернышевскаго крайнимъ соціологическимъ номинализмомъ; въ этомъ отношеніи Чернышевскій сдѣлалъ шагъ назадъ отъ Бѣлинскаго и Герцена, для которыхъ общество было органическимъ синтезомъ индивидуальных элементовъ. Для Чернышевскаго же общество есть просто ариѳметическая сумма личностей. Въ своей знаменитой статьѣ „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія“ („Совр.“, 1858 г., № 12) Чернышевскій доказываетъ, что въ индивидуальной жизни процессъ явленій можетъ перебѣгать съ низшаго логическаго момента на высшіе, пропуская средніе. Разъ это такъ, то, по мнѣнію Чернышевскаго, „очевидно, что мы должны ожидать встрѣтить ту же возможность и въ общественной жизни. Это простой математическій выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, пусть несокращенный благопріятными обстоятельствами ходъ развитія индивидуальной жизни будетъ выражаться прогрессіею: 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64... Пусть въ этой прогрессіи каждымъ членомъ обозначается извѣстный моментъ неускореннаго благопріятными обстоятельствами развитія. Пусть общество состоитъ изъ *A* членовъ. Тогда, очевидно, развитіе общества выражается слѣдующею прогрессіею: 1*A*. 2*A*. 4*A*. 8*A*. 16*A*. 32*A*. 64*A*... Но мы видѣли, что ходъ индивидуальной жизни можетъ перебѣгать съ первой ступени прямо на третью, или четвертую, или седьмую, и положимъ, что относительно извѣстнаго понятія или факта онъ пошелъ по слѣдующему

ускоренному пути: 1.4.64. Тогда, очевидно, и ходъ общественной жизни относительно этого явленія будетъ: 1А.4А.64А. Кажется, это ясно“... (курсивъ нашъ). Это ясно и очевидно только для того, кто, подобно Чернышевскому, принимаетъ за аксіому, что „общественная жизнь есть сумма индивидуальныхъ жизней“, но едва ли бы съ этимъ согласились многочисленные въ концѣ шестидесятыхъ годовъ проповѣдники органической теоріи общества, которые перегнули палку въ другую сторону своимъ заявленіемъ, что личность „очевидно“ есть лишь клѣточка общественнаго организма. Михайловскій въслѣдствіи синтезировалъ въ своемъ міровоззрѣніи эти противоположныя точки зрѣнія и снова пошелъ впередъ по пути, намѣченному Бѣлинскимъ и Герценомъ. Что же касается Чернышевскаго, то нѣсколько ниже мы увидимъ, что его крайній соціологическій номинализмъ былъ только второстепенной ошибкой въ его міровоззрѣніи, но что глубокой и непоправимой ошибкой было исповѣданіе этического анти-индивидуализма при яркомъ соціологическомъ индивидуализмѣ. Это роковое внутреннее противорѣчіе послужило ферментомъ разложенія всѣхъ воззрѣній шестидесятыхъ годовъ. Но объ этомъ рѣчь впереди.

Мы выяснили основной, центральнѣйшій пунктъ народничества Чернышевскаго; посмотримъ на дальнѣйшія приложенія этого основнаго принципа къ тѣмъ вопросамъ, которые ставила сама жизнь передъ русской общественной мыслью. Первымъ и главнымъ изъ этихъ вопросовъ былъ перешедшій по наслѣдству еще отъ западниковъ, славянофиловъ и Герцена вопросъ объ общинѣ.

Въ эпоху оффиціальнаго мѣщанства въ этой области можно было только теоретизировать; въ шестидесятыхъ годахъ вопросъ сразу перешелъ на практическую почву. Правда, еще продолжались споры на исторической почвѣ, и еще въ 1857 году Чичеринъ воевалъ со славянофилами, доказывая, что русская община—не родовая и патріархальная, но сперва владѣльческая, а потомъ и государственная; но уже Герценъ ясно показалъ, что не въ этомъ лежитъ центръ вопроса. „Читалъ я ваши споры объ общинѣ,—писалъ тогда Герценъ:—они очень любопытны, но меньше, чѣмъ кажется, идутъ къ дѣлу. Родовое ли начало сельской общины или государственное, была ли земля общинная, помѣщичья или великокняжеская, скрѣпило ли крѣпостное право общину или нѣтъ,—все это необходимо привести въ ясность; но для насъ всего важнѣе настоящее положеніе дѣлъ“. Положеніе же дѣлъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ было таково, что само существованіе общины висѣло на волоскѣ,

такъ какъ эпигоны западничества имѣли за собою большинство въ редакціонныхъ комиссіяхъ, требовавшихъ упраздненія общины во славу принципа „laissez faire“, — принципа якобы экономическаго индивидуализма; въ этихъ комиссіяхъ одинъ только Самаринъ усиленно ратовалъ за общину. Въ концѣ концовъ, при проведеніи реформы, община въ принципѣ была сохранена; этимъ правительствомъ преслѣдовало, конечно, не идейныя, а исключительно фискальныя цѣли. Къ этому времени для русской интеллигенціи стало совершенно яснымъ различіе между общиной поземельной и административной; народничество выяснило, что не поземельная община подавляетъ личность, а подавляетъ ее фискальная основа, навязанная общинѣ государствомъ. И Герценъ, и Чернышевскій видѣли это вполне ясно, но первенство въ выраженіи этой мысли принадлежитъ Кавелину, одному изъ немногихъ молодыхъ западниковъ, не завязшему въ шестидесятыхъ годахъ въ мѣщанствѣ либеральнаго доктринерства. Мы уже указывали, что Герценъ выразилъ свое полнѣйшее удовлетвореніе точкой зрѣнія Кавелина на общину; мы увидимъ, что взглядъ Кавелина отчасти повліялъ и на Чернышевскаго; уже по одному этому статья Кавелина, санкціонированная двумя столпами народничества, Герценомъ и Чернышевскимъ, имѣетъ для насъ большой интересъ, тѣмъ болѣе, что Кавелинъ всегда былъ — мы это уже видѣли — яркимъ индивидуалистомъ, вѣрнымъ ученикомъ великихъ представителей западничества. Въ этой своей статьѣ („Взглядъ на русскую сельскую общину“, „Атеней“ 1859 г., № 2) Кавелинъ главнымъ образомъ отвѣчаетъ на вопросъ о возможности свободы личности въ сельской общинѣ, и отвѣчаетъ совершенно правильно. Онъ прежде всего строго разграничиваетъ общину поземельную и общину административную. Упрекъ въ томъ, что „община поглощаетъ индивидуальность, не даетъ почти никакого простора личности“, относится, по мнѣнію Кавелина, къ общинѣ административной, преслѣдующей фискальныя цѣли. Тутъ личность давить прежде всего *круговая порука*, не имѣющая никакого отношенія къ общинѣ поземельной; впрочемъ и въ этой послѣдней такую же тормозящую роль играютъ *передѣлы*, несправедливые по отношенію къ лучше работающимъ хозяевамъ. Сохраняя общину, нужно отказаться отъ круговой поруки въ административномъ отношеніи и отъ передѣловъ — въ поземельномъ. Основными формами общины будутъ тогда, во-первыхъ — пользованіе землянымъ паемъ, а не собственность его, а значить отсутствіе наследства и т. п.; во-вторыхъ, необходимымъ условіемъ пользованія будетъ осѣдность въ

данной общинѣ; въ-третьихъ — и это главное — такъ какъ нельзя уничтожить административную общину, а вмѣстѣ съ ней подати и повинности, то необходимо для „свободы лица“ въ общинѣ предоставить каждому *свободу отказа отъ своего земельного пая и свободу выхода изъ общины*. Это несомнѣнно вѣрный отвѣтъ, сохранившій свою силу даже до нашихъ дней. Интересно однако вотъ что: всѣ эти мѣры Кавелинъ признаетъ только палліативами, препятствующими распространенію пролетаріата; онъ сознаетъ, что при общинномъ бытѣ и при увеличеніи народонаселенія не хватитъ земельныхъ паевъ, если участки будутъ оставаться безъ передѣла; онъ сознаетъ, что тогда нужны будутъ „сильныя, радикальныя лекарства“. (Хотя онъ и доказываетъ дальше, что „опаснаго для общественной экономіи перевѣса людей бездомныхъ никогда быть не можетъ“, но мы знаемъ, что эти доказательства идутъ противъ исторіи). Это интересно потому, что въ такомъ признаніи виденъ уже дальнѣйшій шагъ отъ Герцена къ семидесятымъ годамъ, отъ народничества догматическаго и оптимистическаго къ народничеству пессимистическому и критическому: Кавелинъ уже предчувствуетъ, что община можетъ оказаться палліативной, временной мѣрой, и что не ей избавить Россію отъ „мѣщанства“ западной Европы. Вотъ почему онъ идетъ на компромиссъ. „Я противъ индивидуальной личной собственности, какъ исключительной формы землевладѣнія, — пишетъ онъ Герцену (въ 1862 г.): — я не противъ ея принципа, но рядомъ съ нею желаю общиннаго землевладѣнія, какъ ея корректива, какъ противовѣса противъ конкуренціи, которую оно производитъ“... Въ критическомъ народничествѣ мы увидимъ дальнѣйшую эволюцію пессимистическаго отношенія къ будущности общины. Теперь же кстаги отмѣтимъ еще одинъ характерный фактъ: статья Кавелина вызвала почти восторженный отзывъ его недавняго горячаго противника и идейнаго врага, Ю. Самарина, который еще раньше (въ 1857 г.) высказалъ чуть ли не буквально тѣ же самые взгляды на общину въ своей второй запискѣ по крестьянскому дѣлу („Что выгоднѣе: общинное мірское владѣніе землею или личное?“; напечатана впервые въ 1877 г.). Самаринъ склонялся къ уничтоженію общины административной и сохраненію общины поземельной — опять-таки для противодѣйствія возникновенію пролетаріата, ибо „мірское владѣніе и раздѣлъ по тягламъ, возможный только при этой формѣ владѣнія, устанавливаетъ и обезпечиваетъ пропор-

ціональность рабочихъ силъ и потребностей съ количествомъ земли“¹⁾.

Взгляды Чернышевскаго на общину сложились въ началѣ шестидесятыхъ годовъ подъ несомнѣннымъ вліяніемъ славянофильства, какъ это было и съ Герценомъ, но вліяніе это необходимо не переоцѣнивать. Въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ, въ 1855 и 1856 г., при возникновеніи общей социалистической концепціи въ міровоззрѣніи Чернышевскаго, онъ сталъ на сторону общины, какъ возможнаго центра кристаллизаціи для будущаго социалистическаго строя. Но въ то же время онъ полагалъ, не различая общины административной и поземельной, что послѣдняя дѣйствительно стѣсняетъ личность. Но этимъ небольшимъ стѣсненіемъ стоило пренебречь ради возможнаго громаднаго значенія общины; и въ этомъ отношеніи Чернышевскій сталъ на сторону славянофильства. „Мы не подозреваемъ себя въ пристрастіи славянофильскому образу мыслей,—говоритъ Чернышевскій,—но должны сказать, что ученіе объ отношеніи личности къ обществу—здоровая часть ихъ системы и вообще достойно всякаго уваженія по своей справедливости“... („Очерки гоголевскаго періода русской литературы“; „Совр.“ 1856 г., № 2). Однако очень скоро Чернышевскій пришелъ къ выводу, что принципъ общиннаго владѣнія и принципъ личности отнюдь не противорѣчатъ другъ другу; въ 1859 году онъ уже твердо стоитъ на этой точкѣ зрѣнія, одновременно и отстаивая общину, и заявляя, что выше человѣческой личности нѣтъ на земномъ шарѣ ничего.

Переходя къ частностямъ взгляда Чернышевскаго на общину, интересно отмѣтить прежде всего, что вмѣстѣ съ освобожденіемъ крестьянъ Чернышевскій требовалъ и *націонализаціи земли*: „все, чѣмъ владѣютъ или что воздѣлываютъ для себя поселяне по общинному праву, должно быть государственною собственностью въ общинномъ владѣніи“... Принудительное отчужденіе частновладѣльческихъ земель Чернышевскій въ то время считалъ неосуществимымъ и ненужнымъ; напротивъ того, онъ въ эту эпоху (1856—1858 гг.) твердо стоялъ, какъ это мы сейчасъ увидимъ, за частную земельную собственность, и только въ 1860—1861 г., сойдя съ оппозиціоннаго пути на путь революціонно-социалистическій, пришелъ въ

¹⁾ См. „Собр. сочин.“ Кавелина, т. II, стр. 162—186; „Собр. сочин.“ Самарина, т. II, стр. 165—170. См. также „Русскую Мысль“ 1892 г., № 10 — письмо Самарина къ Кавелину (отъ 1859 г.).

то же время къ мысли о необходимости уничтоженія всякой частной земельной собственности. Пока же онъ не заходилъ такъ далеко и направлялъ всѣ свои усилія на отстаиваніе поземельной общины, требовалъ признанія крестьянской земли государственной собственностью въ общинномъ владѣніи: „мы защищаемъ фактъ у насъ существующій—государственную собственность съ общиннымъ владѣніемъ именно потому, что она всего ближе всѣхъ другихъ формъ собственности подходитъ къ идеалу поземельной собственности... Каждый земледѣлецъ долженъ быть землевладѣльцемъ“. („О поземельной собственности“; „Совр.“ 1857 г., № 11). Это требованіе осталось характернымъ для всего народничества; его неоднократно высказывалъ Михайловскій (см., напр., „Собр. сочин.“, т. I, стр. 704—5; т. VI, стр. 301), его же выставило и молодое народничество конца XIX вѣка въ нѣсколько расширенномъ видѣ заявляя, что не только каждый земледѣлецъ долженъ быть землевладѣльцемъ, но и каждый землевладѣлецъ долженъ быть земледѣльцемъ. Но интересно отмѣтить также, что одновременно съ защитой общины и съ требованіемъ своеобразной націонализаціи земли Чернышевскій въ эту эпоху начала выработки своихъ воззрѣній энергично возставалъ противъ *государственнаго закрѣпленія общины*, котораго вносльдствіи требовалъ самъ, а за нимъ требовали и критическіе народники семидесятыхъ годовъ, во главѣ съ Михайловскимъ. Государственное закрѣпленіе общины Чернышевскій сперва считалъ вредной мѣрой, препятствующей образованію личной крестьянской собственности и тѣмъ самымъ приковывающей къ малоземельной общинѣ лишнихъ крестьянъ; но, „кажется, подобныхъ насильственныхъ мѣръ у насъ опасаться и нечего“,—замѣчаетъ Чернышевскій („Библиографія журнальныхъ статей“; „Совр.“ 1858 г., № 10). Отсюда ясно, что Чернышевскій не могъ быть противникомъ частной земельной собственности въ шестидесятыхъ годахъ въ Россіи; подобно Кавелину, онъ видѣлъ въ земельной собственности *коррективъ общинному владѣнію* и обратно, т.-е. вмѣстѣ съ Кавелинымъ повторялъ, какъ мы теперь знаемъ, основное положеніе программы „аграрнаго социализма“ Пестеля (см. т. I, стр. 121—123). „Современемъ, близко ли, далеко ли—не знаемъ, расторговавшійся крестьянинъ непременно постарается купить въ полную и потомственную собственность порядочный участокъ земли“, замѣчаетъ Чернышевскій и радуется этому „распространенію между крестьянами частной поземельной собственности“ (Ibid.) Поэтому Чернышевскій является сторонникомъ мелкаго частнаго кредита и вве-

денія „ипотекарной системы“, ибо даже значительная ссуда „по мірскому приговору можетъ быть обезпечена ипотекой на какой-нибудь отдѣльный участокъ земли“ (Id.; „Совр.“ 1859 г., №№ 2 и 7). И вдругъ непосредственно вслѣдъ за этими словами—заключеніе: „вообще мы полагаемъ, что зло, къ которому пришли западные народы, вслѣдствіе чрезмѣрнаго развитія личной собственности и неизбѣжно слѣдующаго за нею пролетаріата, такъ велико, что для избѣжанія его,—если бы мы и не имѣли столькихъ причинъ, какъ имѣемъ теперь, вѣрить въ будущность нашей сельской общины,—все же слѣдовало бы сдѣлать попытку, и не прежде отчаяться въ успѣхѣ, какъ тогда, когда несостоятельность этого порядка была бы доказана несомнѣннымъ опытомъ“ ..

Здѣсь вскрывается ошибка и Пестеля, и Чернышевскаго, и Кавелина; частновладѣльческій и общинный принципы не могутъ служить коррективами другъ другу, ибо они взаимно исключаютъ другъ друга; всякая же попытка ихъ соединенія окажется обреченнымъ на неудачу палліативомъ. Критическое народничество семидесятыхъ годовъ встрѣтилось лицомъ къ лицу со столь любезнымъ для Чернышевскаго „расторговавшимся крестьяниномъ“, который старался скупать въ полную и потомственную собственность „порядочные участки земли“; но, встрѣтившись съ подобными Колупаевыми и Разуваевыми, типичными представителями нарождающейся буржуазии, семидесятники увидѣли, что появленіе одного такого расторговавшагося крестьянина является съ одной стороны слѣдствіемъ, а съ другой—причиною появленія десятка батраковъ, представителей сельскаго пролетаріата. А вѣдь самъ Чернышевскій когда-то заявлялъ, что-де „благодѣтеленъ принципъ общиннаго владѣнія, который ограждаетъ насъ отъ страшной язвы пролетаріатства въ сельскомъ населеніи!..“ Неудивительно, что, понявъ самопротиворѣчіе Чернышевскаго и убѣдившись въ появленіи на русской исторической сценѣ „расторговавшагося крестьянина“, критическое народничество семидесятыхъ годовъ въ лицѣ Михайловскаго воззвало къ тому самому государственному закрѣпленію общины, которое Чернышевскій признавалъ вредной мѣрой. Впрочемъ и самъ Чернышевскій вскорѣ перемѣнилъ свое мнѣніе; по крайней мѣрѣ въ 1861 году онъ заканчиваетъ свой комментированный переводъ „Основаній политической экономіи“ Д. С. Милля именно требованіемъ государственнаго закрѣпленія общины. „Много статей было написано нами—заявляетъ Чернышевскій—въ защиту общиннаго землевладѣнія и гдѣ намъ надобности вновь перечислять здѣсь его преимущества. Мы хотимъ

только сказать, что если это учреждение на самомъ дѣлѣ полезно, то для его сохраненія нужна правительственная забота, потому что безъ законодательнаго охраненія оно не можетъ удержаться противъ частныхъ интересовъ. ...Милль доказываетъ, что есть общепользные учреждения и обычаи, не могущіе сохраниться безъ прямого законодательнаго огражденія. Совершенно въ томъ же духѣ... мы скажемъ про общинное землевладѣніе: для цѣлаго общества оно полезно; но каждому изъ членовъ общества можетъ представляться временная выгода отъ превращенія своего пользованія частью общественной земли въ полную собственность надъ этою частью ея. Эта мимолетная выгода несомнѣнно приведетъ въ худшее положеніе почти каждаго изъ людей, которые соблазнились бы ею; но она можетъ имѣть столько соблазнительности, что приведетъ къ разрушенію выгоднѣйшаго для всѣхъ порядка, если достаточенъ будетъ минутный интересъ отдѣльнаго члена общины, чтобы участокъ, находящійся въ его пользованіи, былъ выдѣленъ ему въ полную собственность“ (Собр. соч. Чернышевскаго, изд. 1906 г., т. X, ч. II, прил. I, стр. 15—16; въ соответственномъ мѣстѣ „Современника“ 1861 г. этихъ словъ нѣтъ). Чернышевскій повидимому теперь понималъ, что частное землевладѣніе не можетъ служить коррективомъ общинному, и вполне послѣдовательно съ общимъ духомъ своего міровоззрѣнія пришелъ къ требованію государственнаго закрѣпленія общины. Вполнѣ послѣдовательно также народничество конца XIX и начала XX вѣка выставило требованіе социализаціи или націонализаціи всей земли, при окончательномъ уничтоженіи всякой частной земельной собственности: въ этомъ случаѣ русскій социализмъ вѣрно слѣдовалъ не буквѣ, а духу ученія Чернышевскаго, обращавшагося въ свое время къ русской интеллигенціи съ энергичнымъ призывомъ: „умрите за сохраненіе равнаго права каждаго крестьянина на землю, умрите за общинное начало!“¹⁾

Мы видѣли выше, съ какой точки зрѣнія отстаивалъ Чернышевскій поземельную общину; онъ считалъ *возможнымъ*, что раньше пролетаризаціи русскаго крестьянства западная Европа дойдетъ до социалистической стадіи развитія, и тогда русская община послужитъ центромъ кристаллизаціи социалистическаго строя въ Россіи. Если мы вспомнимъ, что около того же времени и Марксъ и Энгельсъ предсказывали торжество социализма въ Европѣ еще до наступленія XX вѣка, то точка зрѣнія Чернышевскаго намъ пока-

¹⁾ См. Барсуковъ „Жизнь и труды М. П. Погодина“, XV, 260.

жется вполнѣ оправдываемой своей эпохой. Что же касается возможности для Россіи скачка черезъ капиталистическій періодъ развитія прямо въ царство социализма, то, во-первыхъ, Чернышевскій, какъ мы видѣли, не былъ противъ капиталистическаго развитія, указывая на возможность его совпаденія съ народнымъ благосостояніемъ; при неосуществимости этого онъ доказывалъ, во-вторыхъ, логическую и фактическую возможность скачка черезъ средніе фазисы развитія. Этому доказательству посвящена, какъ мы уже видѣли, извѣстная статья Чернышевскаго „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія“ („Совр.“ 1858 г., № 12). Воспользовавшись, какъ схемой, гегелевской триадой и примѣняя ее къ процессу экономическаго развитія, Чернышевскій принялъ тезисомъ — патриархальное общинное владѣніе; антитезисомъ — владѣніе личное и синтезисомъ — социалистическое общинное владѣніе; затѣмъ всю силу своихъ доказательствъ онъ направилъ на то, чтобы вывести возможность непосредственнаго перехода отъ тезиса къ синтезису, отъ 1А прямо къ 64А, по приведенной нами выше символической терминологіи. Минованіе капиталистическаго фазиса представлялось поэтому возможнымъ, вполнѣ согласно и со славянофилами, и съ Герценомъ; но тутъ же слѣдуетъ особенно рельефно выставить на видъ коренную разницу такой точки зрѣнія Чернышевскаго и взгляда Герцена на особый путь развитія Россіи.

Согласно Чернышевскому, возможность миновать капиталистическій фазисъ развитія являлась для Россіи только счастливымъ случаемъ совпаденія сходныхъ по типу, но глубоко различныхъ по степени экономико-соціальныхъ формъ. Строго говоря, никакого *особаго типа развитія* Россіи въ этомъ нѣтъ: она шла тѣмъ же общимъ путемъ, причемъ однако настолько отстала отъ Европы, что послѣдняя пришла къ одной съ ней точкѣ уже совершивъ цѣлый кругъ развитія, подобно тому, какъ если двѣ лошади будутъ бѣжать по кругу, то раньше или позже быстрѣйшая догонитъ отстающую. Община — не особенность русскаго народа, а только застарѣлый пережитокъ, давнымъ-давно уступившій у европейскихъ народовъ свое мѣсто частной собственности: „нечего намъ считать общинное владѣніе особенною прирожденною чертою нашей національности, а надобно смотрѣть на него какъ на обще-человѣческую принадлежность извѣстнаго періода въ жизни каждаго народа... Сохраненіе общины въ поземельномъ отношеніи, исчезнувшей въ этомъ смыслѣ у другихъ народовъ, доказываетъ только, что мы ушли гораздо меньше, чѣмъ эти народы“... (Ibid.). Конечно, если Россія

минуетъ капиталистическій фазисъ развитія, то это будетъ особенностью ея исторіи, вслѣдствіе совпаденія по времени отсталыхъ и развитыхъ социально-экономическихъ формъ; это можно считать „особымъ путемъ“ ея развитія, но совершенно въ другомъ смыслѣ, чѣмъ это понималъ Герценъ, не говоря уже о славянофилахъ.

Отсюда—рѣзкая полемика Чернышевскаго съ Герценомъ по вопросу о „мѣщанствѣ“ Европы и объ анти-мѣщанскомъ пути развитія Россіи. Первымъ поводомъ послужила книжка Лаврова „Личность“ (1860 г.), посвященная Герцену и Прудону; Чернышевскій написалъ по поводу этой книжки свою надѣлавшую много шума статью „Антропологическій принципъ въ философіи“ („Совр.“ 1860 г., №№ 4 и 5), въ первой части которой полемизируетъ и съ Прудономъ и съ Герценомъ. Но такъ какъ по цензурнымъ условіямъ нельзя было говорить ни о первомъ, ни особенно о второмъ, то, говоря о Прудонѣ, Чернышевскій называетъ его „авторомъ книги de la Justice“, а полемизируя съ Герценомъ—нападаетъ на Милля. Какъ мы помнимъ, Герценъ въ 1859 г. написалъ статью по поводу книги Милля „О свободѣ“ („Колоколь“, 15 апр. 1859 г.), подкрѣпляя новыми аргументами Милля свою основную точку зрѣнія, высказанную впервые еще за десять лѣтъ до того, о мѣщанствѣ западной Европы, объ ея нравственномъ китаизмѣ, о торжествѣ „conglomerated mediocrity“. Нападая якобы на Милля, Чернышевскій обращаетъ все свое оружіе противъ Герцена; указавъ на мнѣніе о конечной побѣдѣ китаизма и мѣщанства въ Европѣ, Чернышевскій явно указываетъ на Герцена: „такъ говорятъ нѣкоторые даже изъ самыхъ лучшихъ нашихъ людей и указываютъ на грустный приговоръ Милля, какъ на подтвержденіе очень сильное“. И на дальнѣйшихъ страницахъ Чернышевскій объясняетъ мнѣніе Милля (а значитъ и Герцена) своеобразной классовой идеологіей: мнѣніе это выражается той лучшей частью буржуазіи и аристократіи, которая предчувствуетъ неизбежность грядущаго социалистическаго переворота и неизбежность потери всѣхъ своихъ привилегій.. (см. op. cit., а также первая строка изложенія четвертой книги „Полит. Экон.“ Милля въ „Совр.“ 1861 г., № 8). Еще рѣзче напалъ Чернышевскій на Герцена въ статьѣ „О причинахъ паденія Рима“ („Совр.“ 1861 г., № 5). „Западная Европа отжила свой вѣкъ, истощила свои жизненные элементы; западные народы не способны продолжать дѣло прогресса; міръ долженъ возобновиться паденіемъ этихъ народовъ и замѣною ихъ новыми, свѣжими племенами“, — такъ формулируетъ Чернышевскій мнѣніе „лучшихъ

нашихъ людей“; разоблаченіе этого ошибочнаго взгляда представляется ему довольно важнымъ „для очищенія самохвальныхъ и, къ счастью, пустыхъ мыслей о нѣкоторыхъ живыхъ отношеніяхъ. Мы говоримъ не о славянофилахъ“... И въ дальнѣйшемъ онъ доказываетъ, во-первыхъ, что Европа не только не истощила свои жизненные силы, но, напротивъ, только-что начинаетъ жить, ибо въ Европѣ „только еще авангардъ народа, среднее сословіе уже дѣйствуетъ на исторической аренѣ, да и то почти лишь только начинаетъ дѣйствовать; а главная масса еще и не принималась за дѣло, ея густыя колонны еще только приближаются къ полю исторической дѣятельности“. Она собственными силами идетъ къ тому социалистическому строю, въ которомъ будетъ между прочимъ осуществлено и общинное владѣніе въ его новыхъ и развитыхъ формахъ. А если это такъ, то, доказываетъ Чернышевскій во-вторыхъ, считать русскую общину панацеей отъ всѣхъ западно-европейскихъ социальныхъ золъ и элементомъ спасенія Европы отъ мѣщанства—смѣшно и нелѣпо. „Европѣ тутъ позаимствоваться нечѣмъ и не для чего: у Европы свой умъ въ головѣ, и умъ гораздо болѣе развитый, чѣмъ у насъ, и учиться ей у насъ нечему, и помощи нашей не нужно ей“... „Мы далеко не восхищаемся нынѣшнимъ состояніемъ западной Европы; но все-таки полагаемъ, что нечѣмъ ей позаимствоваться отъ насъ. Если сохранился у насъ отъ патриархальныхъ (дикихъ) временъ одинъ принципъ, нѣсколько соответствующій одному изъ условій быта, къ которому стремятся передовые народы, то вѣдь западная Европа идетъ къ осуществленію этого принципа совершенно независимо отъ насъ“¹⁾.

Этой своей, быть можетъ, нѣсколько рѣзкой критикой Чернышевскій вытравилъ изъ русскаго социализма послѣднія черты, придававшія ему отчасти утопическую окраску. Герценъ многое обосновывалъ на миѳической анти-буржуазности крестьянскаго тулупа; Чернышевскій же ясно понималъ, что „расторговавшійся крестьянинъ“ — одинаково буржуа, будь онъ русскій, французскій, или англійскій: „русскій заяць точно такой же заяць, какъ и заяць-англичанинъ, и вовсе нѣтъ того, чтобы нашъ заяць леталъ, а англійскій пѣлъ—оба они зайцы и все у нихъ заячье, какъ двѣ капли воды“, —иронизировалъ впоследствии Гл. Успенскій. Крити-

¹⁾ Въ то время еще не было установлено очень позвее (въ XIV—XVII вв.) и чисто фискальное происхожденіе русской общины; поэтому и Чернышевскій считаетъ нашъ общинный деревенскій строй остаткомъ первобытнаго коммунизма.

ческое народничество семидесятых годов уже вполне прониклось сознанием, что анти-мещанство не есть свойство русского народа, отличающее его от большинства народов западно-европейских; мы видели, что уже самъ Герценъ мало-по-малу смотрѣлъ все пессимистичнѣе и пессимистичнѣе на эту свою теорію; Чернышевскій же первый громко заявилъ о ея полной несостоятельности. То же самое можно повторить и о противоположномъ убѣжденіи Герцена — въ мещанствѣ западной Европы: Чернышевскій первый вскрылъ всю ошибочность такого утвержденія своимъ указаніемъ на то, что на исторической европейской сценѣ еще не дѣйствуютъ главныя народныя силы, и что, подъ вліяніемъ послѣднихъ, Европа раньше или позже неизбѣжно придетъ къ тому самому строю, который явится высокой степенью развитія желательнаго для Герцена типа. Послѣ Чернышевскаго такое положеніе стало общимъ мѣстомъ русскаго социализма. Отношеніе къ современному фазису экономическаго развитія Европы продолжало оставаться критическимъ, — и это особенно ясно было высказано Михайловскимъ, но „особый путь развитія“ Россіи понимался почти исключительно въ смыслѣ, приданномъ этой формѣ Чернышевскимъ, т.-е. не въ смыслѣ особаго типа развитія, а въ смыслѣ возможности минованія различныхъ стадій европейскаго пути; это не особый *типъ* развитія, но, въ точномъ смыслѣ, — особый *путь* развитія, приводящій однако къ одной и той же общей цѣли. Въ сущности такое пониманіе этой фразы можно найти и у Герцена, особенно въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ шестидесятыхъ годовъ; насколько повліяла на Герцена критика Чернышевскаго — пока еще трудно сказать, но вліяніе это въ высшей степени вѣроятно; по крайней мѣрѣ оно сильно сказывается на аргументаціи Герцена въ 8-мъ письмѣ изъ его „Концовъ и Началъ“ („Колоколъ“, 15 февр. 1863 г.). Впослѣдствіи Михайловскій пытался поддержать точку зрѣнія Герцена на мещанскій путь развитія Европы и анти-мещанскій — Россіи, своей теоріей двухъ типовъ социальнаго развитія — органическаго и надъ-органическаго; однако и онъ вскорѣ вернулся къ Чернышевскому и къ его пониманію особаго пути развитія Россіи.

Не трудно вскрыть причины различія точекъ зрѣнія Герцена и Чернышевскаго. Какъ мы знаемъ, на мировоззрѣніе Герцена глупо повліяли событія 1848 года; онъ считалъ пиррову побѣду буржуазіи ея рѣшительной побѣдой; 1852 годъ еще болѣе усилилъ пессимистическое настроеніе Герцена, мировоззрѣніе котораго перестраивалось подъ всѣми этими непосредственными впечатлѣніями.

Десять лѣтъ спустя, когда дѣйствовалъ Чернышевскій, если не положеніе дѣль, то настроеніе общества было совершенно иное: на Западѣ послѣ смерти социализма утопическаго родился социализмъ реальный; въ Россіи шла борьба за великую социальную реформу и вся интеллигенція была проникнута (не безъ вліянія того же Герцена) ясно выраженнымъ социалистическимъ настроеніемъ. Поэтому пессимизмъ Герцена уступилъ мѣсто яркому оптимизму Чернышевскаго, твердо вѣрившаго, въ противоположность Герцену, въ великія грядущія силы западно-европейскихъ народовъ; наоборотъ, это же послужило причиною внесенія Чернышевскимъ критическаго элемента въ догматико-оптимистическое народничество Герцена. Вотъ почему народничество Чернышевскаго представляетъ изъ себя большой шагъ впередъ въ эволюціи русскаго социализма, будучи окончательнымъ переходомъ къ социализму реальному. Однако тутъ же надо замѣтить, что въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ Чернышевскій сдѣлалъ шагъ назадъ отъ Герцена; мы убѣдимся въ этомъ, когда коснемся вопроса о философскомъ обоснованіи народничества у Герцена и Чернышевскаго. Но объ этомъ нѣсколько ниже, а теперь закончимъ наше знакомство съ основаніями русскаго социализма шестидесятихъ годовъ.

На предыдущихъ страницахъ мы имѣли случай отмѣтить, что въ шестидесятихъ годахъ народничество вело ожесточенную борьбу съ либеральнымъ доктринерствомъ эпигоновъ западничества; мы отмѣтили также, что эти русскіе манчестерцы, представители экономическаго либерализма, были, сознательно или безсознательно, идеологами русской буржуазіи, въ то время едва только зарождавшейся. Герценъ, какъ мы это видѣли, боролся съ „либерализмомъ“ съ точки зрѣнія наличности въ немъ элементовъ мѣщанства; Чернышевскій выдвинулъ впередъ другіе аргументы, въ послѣдствіи исчерпывающимъ образомъ развитые Михайловскимъ, основываясь на центральномъ пунктѣ своего міровоззрѣнія — благосостояніи народа и благѣ реальной личности. *Laissez faire laissez aller!* — таковъ былъ обычный припѣвъ экономическаго либерализма, убѣжденнаго, что онъ стоитъ за свободу личности, что его принципы — вполнѣ индивидуалистическіе. И Чернышевскій сперва самъ попался на эту удочку, убѣжденный, что экономическій либерализмъ есть дѣйствительно экономическій индивидуализмъ; говоря о школѣ физиократовъ и меркантилистовъ, объ ихъ различіи и сходствѣ, онъ замѣчаетъ: „объ школы имѣли одну общую тенденцію — индивидуализмъ; и общимъ девизомъ ихъ стала формула: *laissez faire laissez passer*“ ...

Съ такимъ якобы индивидуализмомъ Чернышевскій, конечно, не могъ согласиться, такъ какъ понималъ, что можетъ происходить „при владычествѣ (такого) индивидуализма въ обществѣ, гдѣ каждый имѣетъ въ виду только самого себя“... Мы уже не разъ подчеркивали, что эгоизмъ есть характерный этический анти-индивидуализмъ; и Чернышевскій ясно понималъ, что этотъ экономическій либерализмъ и quasi-индивидуализмъ совершенно противоположенъ истинной свободѣ личности: „развѣ это не беспорядокъ, не несправедливость, не насиліе? Когда съ одной стороны сильный, съ другой—слабый, свобода сильнаго развѣ не угнетеніе слабого?“ („Тюрго“; „Совр.“ 1858 г., № 9). Въ уже цитированной нами статьѣ „Экономическая дѣятельность и законодательство“ Чернышевскій высказалъ, наконецъ, что фритредерство отнюдь не есть, какъ то утверждали эпигоны западничества, система экономическаго индивидуализма и либерализма, но совершенно напротивъ: „они утверждаютъ, что кто желаетъ прямого участія законодательства въ опредѣленіи экономическихъ отношеній, тотъ отдаетъ личность въ жертву деспотизма общества. Мы постараемся показать, что ихъ собственная теорія именно и ведетъ къ этому;... эта теорія повертывается рѣшительно въ невыгуду для личности“... Изложивъ далѣе теорію *laissez faire laissez aller*, Чернышевскій приводитъ ее къ абсурду послѣдовательнымъ развитіемъ ея же основныхъ началъ; онъ доказываетъ, что система эта „въ теоріи ведетъ къ поглощенію личности государствомъ, а на практикѣ служить оправданіемъ для реакціоннаго терроризма“... „... Мы недовольны теоріею невмѣшательства власти въ экономическія отношенія вовсе не потому, чтобы были противниками личной самостоятельности. Напротивъ, именно потому и не нравится намъ эта теорія, что приводитъ къ результатамъ совершенно противнымъ своему ожиданію. Желая ограничить дѣятельность государства одною заботою о безопасности, она между тѣмъ предаетъ на полный произволъ его всю частную жизнь, даетъ ему полное право совершенно подавлять личность“... („Совр.“ 1859 г., № 2). Во всемъ этомъ совершенно ясно сказывается та мысль, что экономическій либерализмъ есть по своему существу типичный анти-индивидуализмъ,—мысль, которую впоследствии высказалъ Михайловскій, поставивъ точки надъ і. Именно Чернышевскій, а отнюдь не эпигоны западничества и либеральные доктринеры, стоятъ на точкѣ зрѣнія истиннаго индивидуализма, развивая далѣе въ общихъ чертахъ свои социалистическіе идеалы, принимая, что „государство существуетъ для блага индивидуальной личности“, и что выше этой

человѣческой личности нѣтъ на земномъ шарѣ ничего. Индивидуализмъ, какъ основной принципъ, и социализмъ, какъ конечный идеаль, являются такимъ образомъ тѣсно связанными между собою въ системѣ русскаго народничества; это мы видѣли у Герцена, видимъ у Чернышевскаго, и то же увидимъ и у Лаврова, и у Михайловскаго. Мы уже замѣчали (т. I, Введеніе), что обычное противоположеніе индивидуализма и социализма совершенно не выдерживаетъ критики съ точки зрѣнія нашей терминологіи; въ народничествѣ, этомъ русскомъ социализмѣ, индивидуализмъ — основная и характерная черта.

Что же касается основныхъ чертъ народничества Чернышевскаго, то онѣ все теперь передъ нами налицо. Фундаментомъ его міровоззрѣнія является *общая норма — блага личности, и принципъ примата народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ*. Слѣдствіемъ этого является, во-первыхъ, борьба съ либеральнымъ доктринерствомъ, съ россійскимъ фритредерствомъ, обращающимъ главное вниманіе на увеличеніе производства страны и тѣмъ самымъ подавляющимъ человѣческую личность. Отсюда вытекаетъ далѣе приматъ распредѣленія надъ производствомъ, т.-е. въ сущности приматъ социальнаго надъ экономическимъ, характерный для Чернышевскаго; третьимъ слѣдствіемъ является борьба за общинное начало, какъ соблюдающее интересы реальной личности и отвѣчающее примату народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ. Это сопровождается вѣрой въ возможность для Россіи миновать капиталистическій фазисъ развитія, вѣрой въ ея особый путь, въ буквальномъ значеніи этого слова. Если мы прибавимъ къ этому несомнѣнные задатки „субъективизма“, подчеркнемъ социологическій индивидуализмъ, сопровождающійся крайнимъ социологическимъ номинализмомъ, то передъ нами будетъ ясно очерченное народничество Чернышевскаго, являющееся продолженіемъ народничества Герцена и введеніемъ къ народничеству Михайловскаго.

Мы уже указали однако, что въ нѣкоторыхъ пунктахъ Чернышевскій пошелъ не впередъ, а назадъ отъ Герцена; напимѣръ, такимъ шагомъ назадъ былъ его крайній номинализмъ, такимъ шагомъ назадъ была вообще вся философская система, положенная Чернышевскимъ въ основу своего міровоззрѣнія. Интересно отмѣтить, что „проклятые вопросы“, мучившіе Чаадаева и Герцена, а въ послѣдствіи и семидесятниковъ, оставляли Чернышевскаго совершенно равнодушнымъ; они были не ко двору въ эпоху шестидесятыхъ годовъ. Одинъ только Лавровъ пробовалъ идти противъ общаго

теченія, но зато и не пользовался ни малѣйшимъ вліяніемъ въ шестидесятыхъ годахъ. Телеологиченъ ли историческій процессъ? является ли онъ eo ipso прогрессомъ?— всѣ подобные вопросы мало интересовали дѣятелей той эпохи; рѣшеніе ихъ они считали настолько простымъ, что не стоило тратить времени даже на постановку такихъ вопросовъ. Нельзя сказать, чтобы Чернышевскій относился отрицательно къ необходимости философской обосновки каждаго міровоззрѣнія; въ началѣ шестидесятыхъ годовъ онъ былъ еще подъ вліяніемъ лѣваго гегельянства и сѣтовалъ на то, что „философскія стремленія теперь почти забыты нашею литературою и критикою“, отъ чего и литература и критика „не выиграли ровно ничего, потерявъ очень много“... („Очерки гогол. пер.“; „Совр.“ 1856 г., № 9). Но въ дальнѣйшемъ онъ прошелъ отъ Гегеля черезъ Фейербаха къ Бюхнеру, къ отрицанію всей философіи какъ „метафизики“ и къ признанію данныхъ естествознанія за

...смысль глубочайшей науки

— И смыслъ философіи всей.

Во второй части своего „Антропологическаго принципа въ философіи“ онъ проводилъ теорію матеріалистическаго монизма, считая ощущеніе и мысль процессомъ человѣческаго организма, разложимымъ на фізіологическіе, а затѣмъ и механическіе элементы. Неудивительно послѣ этого, что естественныя науки стали для него, а въ особенности впослѣдствіи для Писарева, послѣдней инстанціей для апелляціи; приговоры же естествознанія были уже безапелляціонны. Мы увидимъ, въ какой тупикъ завела такая точка зрѣнія „писаревщину“ конца шестидесятыхъ годовъ.

Эпоха шестидесятыхъ годовъ была типично реалистическою эпохой, въ принимаемомъ нами смыслѣ этого слова, быть можетъ, наиболѣе реалистическою во всей исторіи русской общественной мысли XIX вѣка; въ этомъ отношеніи она была непосредственнымъ продолженіемъ реалистическаго и раціоналистическаго теченія сороковыхъ годовъ, ярко сказавшагося въ дѣятельности Бѣлинскаго. Семидесятые годы также были реалистическими, но что касается раціонализма, то пальма первенства принадлежитъ несомнѣнно эпохѣ шестидесятыхъ годовъ. Здѣсь шестидесятые годы протягиваютъ руку черезъ Бѣлинскаго къ двадцатымъ годамъ, къ идеологіи декабристовъ; мы имѣли случай отмѣтить типичный раціонализмъ Пестеля (т. I, гл. III). Въ шестидесятыхъ годахъ раціонализмъ этотъ ни въ чемъ не выразился такъ сильно, какъ въ области этики, въ которой царилъ ученіе утилитаризма.

Въ одной изъ слѣдующихъ главъ намъ придется еще подробно говорить объ утилитаризмѣ (гл. IV), поэтому здѣсь мы ограничимся только указаніемъ въ самыхъ общихъ чертахъ на то, что *утилитаризмъ является типичнымъ этическимъ анти-индивидуализмомъ* безразлично, будетъ ли это утилитаризмъ индивидуальный или социальный. Индивидуальный утилитаризмъ принимаетъ за принципъ дѣятельности пользу лица, утилитаризмъ социальный — пользу большинства; но и то и другое одинаково анти-индивидуалистично съ точки зрѣнія основной нормы этики — самоцѣльности человѣка. Принципъ пользы большинства и норма самоцѣльности человѣка слишкомъ очевидно противоположны другъ другу, такъ что анти-индивидуалистичность перваго принципа не требуетъ доказательствъ; что же касается принципа пользы лица, утилитаризма индивидуального, то его анти-индивидуалистичность вскроется легко, если мы укажемъ, что утилитаризмъ имѣетъ здѣсь въ виду исключительно эгоистическую пользу: эгоизмъ есть отправная точка утилитаризма; а намъ уже неоднократно приходилось указывать, какъ мы это отмѣтили немного выше, что эгоизмъ есть этический анти-индивидуализмъ. Впослѣдствіи (см. т. II, гл. VIII) мы увидимъ, что принципъ полезности, на которомъ основывается вся утилитаристическая мораль, лежитъ совершенно внѣ предѣловъ этики, какъ это ясно показала русская идеалистическая интеллигенція конца XIX-го вѣка; въ основѣ этики должна лежать идея не блага, а долга, не мое „я“, а человѣческая личность. Высшей степенью ошибки было бы *отождествленіе социологическаго принципа блага реальной личности съ этической нормой*; въ этомъ отождествленіи — вся ошибка шестидесятниковъ.

Шестидесятники въ сущности совершенно отрицали этику; они были фетишистами категоріи полезности. „Нравственность“, „добро“ — все это ненужныя слова, истинный смыслъ которыхъ раскрывается въ понятіи пользы. „Если есть какая-нибудь разница между добромъ и пользою, она заключается развѣ лишь въ томъ, что понятіе добра очень сильнымъ образомъ выставляетъ черту постоянства, прочности, плодотворности, изобилія хорошими, долговременными и многочисленными результатами, которая, впрочемъ, находится и въ понятіи пользы“ — заявляетъ Чернышевскій („Антр. принц. въ фил.“); иными словами, между „добромъ“ и „пользою“ существуетъ только количественное, а не качественное различіе: очень большая польза есть добро... Такое отрицаніе этики, съ той или иной точки зрѣнія, дважды встрѣчалось въ исторіи русской общественной мысли,

а именно—въ шестидесятыхъ и девяностыхъ годахъ XIX-го вѣка. „Нравственность“, „добро“, „долгъ“—все это пустыя слова, говорили шестидесятники: что вы тамъ толкуете объ этичности или анти-этичности того или иного поступка? Онъ *полезенъ* (для меня или для общества), и этимъ все сказано.—„Нравственно“, „справедливо“—все это пустыя слова, повторили, какъ мы увидимъ, девяностые: что вы тамъ толкуете объ этичности или анти-этичности того или иного процесса? Онъ *необходимъ*, и этимъ все сказано. Иначе говоря, фетишизація категоріи полезности шестидесятниками и фетишизація категоріи необходимости людьми девяностыхъ годовъ одинаково приводила къ полному отрицанію этики: утилитаризмъ шестидесятыхъ годовъ былъ ея субъективнымъ отрицаніемъ, фатализмъ девяностыхъ годовъ—отрицаніемъ объективнымъ. И въ томъ и въ другомъ случаѣ результаты были одинаковы: отрицаніе этики было только внѣшней формой, такъ какъ оно невысказано по существу. Согласно извѣстному анекдоту, нѣкто, зараженный скептицизмомъ, заявлялъ, что онъ не вѣритъ въ географію; но это отрицаніе географіи не помѣшало ему сдѣлать кругосвѣтное путешествіе. Подобно этому и девяностые и шестидесятники „не вѣрили въ этику“, что не помѣшало имъ—напримѣръ, Чернышевскому—высоко цѣнить „справедливость, священныя права человѣческой личности“... (см. „Экон. дѣят. и законод.“). Чернышевскій пронизировалъ надъ экономическимъ либерализмомъ, который исходилъ изъ абсолютной экономической свободы отдѣльнаго лица, а приходилъ спасаться отъ этой свободы подъ сѣнь священныхъ правъ человѣческой личности: „вотъ оно куда пришло!“ Но онъ не замѣтилъ, что со своей теоріей утилитаризма онъ самъ попалъ въ совершенно такое же положеніе; не трудно было бы провести строгую параллель между утилитаризмомъ и системой *laissez faire* въ этомъ отношеніи. Всѣ эти Лопуховы, Кирсановы, Рахметовы и вообще всѣ „положительные типы“ изъ романа Чернышевскаго „Что дѣлать?“ (въ которомъ проповѣдь теоріи утилитаризма занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ)—всѣ они не вѣрятъ въ географію и все-таки совершаютъ кругосвѣтныя путешествія: они отрицаютъ „долгъ“ и руководствуются моралью долга, убѣждая себя при этомъ, что ихъ единственный критерій—польза, единственный двигатель—эгоизмъ... Это не помѣшаетъ Чернышевскому принимать принципъ Фейербаха—*homo homini deus*, между тѣмъ какъ принципъ этотъ, въ своемъ приложеніи къ этикѣ, есть одно изъ наиболѣе яркихъ выраженій нормы этического индивидуализма—человѣкъ цѣль, а не средство... Ошибка

Чернышевскаго, а вмѣстѣ съ нимъ и всей эпохи шестидесятыхъ годовъ, какъ мы уже указали, заключается въ томъ, что *соціологическій принципъ блага реальной личности онъ смѣшивалъ съ этическимъ принципомъ моральной цѣнности дѣйствія*, въ томъ, что *этическую цѣнность дѣйствія онъ измѣрялъ его соціальной пользой*.

Каковы бы ни были однако самопротиворѣчія Чернышевскаго, они не мѣшали ему быть убѣжденнымъ сторонникомъ теоріи эгоизма и утилитаристической морали. Первые звуки этой морали мы слышали еще у Пнина, у декабристовъ (подъ вліяніемъ Бентама), наконецъ даже у Герцена. „Могу ли я любить кого-нибудь не для себя, могу ли я любить, если это не доставляетъ *мнѣ*, именно *мнѣ* удовольствія“,—спрашивалъ, какъ мы помнимъ, Герценъ, считая эгоизмъ „въ глаза бросающимся грунтомъ всего человѣческаго“. Впослѣдствіи мы еще вернемся къ этой мысли, поскольку она является вѣрной (см. т. II, гл. VIII), а теперь напомнимъ только, что Герценъ, возставая противъ шаблоннаго противоположенія эгоизма и альтруизма, никогда не былъ приверженцемъ утилитаризма; мы видѣли въ его міровоззрѣніи яркій этическій индивидуализмъ, гармонично соединенный съ не менѣе яркимъ индивидуализмомъ соціологическимъ. Чернышевскій же, проповѣдуя самый послѣдовательный утилитаризмъ (поскольку утилитаризмъ можетъ быть послѣдовательнымъ), неизбежно долженъ былъ прійти къ этическому анти-индивидуализму—и это несмотря на то, что выше человѣческой личности онъ не принималъ на земномъ шарѣ ничего! Здѣсь передъ нами то самое совмѣщеніе соціологическаго индивидуализма съ этическимъ анти-индивидуализмомъ, которое мы видѣли въ пушкинскомъ Алеко, въ Лермонтовѣ, которое одинъ разъ было отмѣчено нами даже у Бѣлинскаго. Но тамъ это было только случайнымъ штрихомъ настроенія; у Чернышевскаго же впервые это совмѣщеніе стало одной изъ наиболѣе характерныхъ чертъ самого міровоззрѣнія. *Совмѣщеніе соціологическаго индивидуализма съ этическимъ анти-индивидуализмомъ*—такова характерная черта не только міровоззрѣнія Чернышевскаго, но и всѣхъ шестидесятыхъ годовъ; это совмѣщеніе, невозможное по существу, возможное только при механическомъ смѣшеніи, а не при органическомъ соединеніи частей міровоззрѣнія,—это совмѣщеніе оказалось тѣмъ внутреннимъ противорѣчіемъ, которое погубило системы и теоріи шестидесятыхъ годовъ, міровоззрѣнія и Чернышевскаго, и Писарева. Когда Писаревъ довелъ воззрѣнія Чернышевскаго до ихъ логическаго конца,

то передъ русской интеллигенціей оказалось поле, покрытое мертвыми костями. И только Лаврову и Михайловскому удалось въ семидесятихъ годахъ собрать эти „membra disjecta“ мировоззрѣнія шестидесятихъ годовъ, соединить ихъ и вдохнуть въ нихъ „душу живу“.

Откладывая подведеіе общихъ итоговъ мировоззрѣнія Чернышевскаго до конца этой главы, мы познакоимся сперва съ ходомъ развитія русской общественной мысли во второй половинѣ шестидесятихъ годовъ, а значить—съ теоріями Писарева и съ настроеніями „писаревцевъ“; они дѣйствительно привели воззрѣнія Чернышевскаго къ абсурду, такъ что „писаревщина“ и „нигилизмъ“ открыли, наконецъ, глаза русской интеллигенціи на ошибки, допущенныя Чернышевскимъ при построеніи имъ своего мировоззрѣнія. Послѣ знакомства съ писаревщиной эти ошибки станутъ ясны сами собою, и тогда мы скажемъ наше послѣднее слово о Чернышевскомъ. Теперь же мы перейдемъ ко второй половинѣ шестидесятихъ годовъ по тому мосту, какимъ въ сущности былъ между двумя половинами этой эпохи Добролюбовъ.

Добролюбовъ дѣйствовалъ одновременно съ Чернышевскимъ, но въ совершенно иной области: они размежевались между собою, едва только Добролюбовъ выступилъ въ „Современникѣ“ какъ литературный критикъ. Въ этой области Чернышевскій сразу призналъ его превосходство, несмотря на то, что въ области литературной критики (въ широкомъ смыслѣ этого слова) и самъ онъ представлялъ изъ себя далеко не заурядную величину: достаточно вспомнить его „Очерки гоголевскаго періода“, его удивительно вѣрное опредѣленіе сути таланта Л. Толстого (въ 1856 г.), Писемскаго (въ 1858 г.), его характеристику „лишнихъ людей“ и отношенія къ нимъ шестидесятниковъ („Русскій человѣкъ на rendez vous“, 1858 г.) и т. п. Но лишь только онъ почувствовалъ въ Добролюбовѣ громадную критическую силу, какъ тотчасъ же передалъ (1857 г.) весь критическій отдѣлъ „Современника“ въ вѣдѣніе Добролюбова.

Когда мы называемъ Добролюбова литературнымъ критикомъ, то слово это надо понимать настолько же широко, какъ и при наименованіи критикомъ Бѣлинскаго, или романистомъ—Достоевскаго: это только внѣшняя форма. Добролюбовъ разработывалъ въ своихъ критическихъ статьяхъ всѣ насущные вопросы современной ему эпохи—о роли интеллигенціи и роли личности въ исторіи, о воспитаніи, о значеніи лишнихъ людей для эпохи официальнаго мѣщанства и шестидесятихъ годовъ, о мѣщанствѣ и его значеніи и т. п.—большая часть чего была затронута Чернышевскимъ только мимо-

ходомъ. Съ этой точки зрѣнія дѣятельность Чернышевскаго и Добролюбова представляется какъ бы взаимно дополнительной.

Что касается социальна-экономическихъ взглядовъ Добролюбова, то они сложились подъ непосредственнымъ вліяніемъ Чернышевскаго; неудивительно поэтому, что вездѣ, гдѣ только Добролюбовъ касается экономическихъ и социальныхъ проблемъ, онъ повторяетъ и пересказываетъ только своими словами уже знакомыя намъ мысли Чернышевскаго. Чернышевскій отрицалъ это (см. его статью „Въ изъявленіе признательности“; „Совр.“, 1862 г. № 2), но факты говорятъ противъ него. Такъ, напримѣръ, въ вопросѣ объ общинѣ Добролюбовъ только повторялъ мысли своего учителя (см., напр., II, 409—419 ¹⁾), противъ системы экономическаго либерализма протестовалъ почти его же словами (I, 474). Правда, встрѣчаются небольшія разнорѣчія, но они еще яснѣе показываютъ, что, пытаясь сказать въ этой области что-нибудь „свое“, Добролюбовъ впадалъ въ противорѣчія и самъ съ собой и со своимъ учителемъ: такъ, напримѣръ, осуждая систему экономическаго либерализма, Добролюбовъ почти въ то же самое время восхищается государственнымъ индивидуализмомъ въ Англіи (II, 245). Другое разнорѣчіе — одно изъ наиболѣе крупныхъ — отношеніе къ Герцену въ вопросѣ о „мѣщанствѣ“ Европы. Мы видѣли, какъ сурово осудилъ Чернышевскій точку зрѣнія Герцена; Добролюбовъ же сначала сталъ на сторону „русскаго изгнанника“. Когда извѣстный въ то время профессоръ политической экономіи и либеральный доктринеръ, Бабстъ, въ своихъ путевыхъ письмахъ „Отъ Москвы до Лейпцига“ (1859 г.) насмѣшливо отнесся къ тѣмъ „широкимъ натурамъ“, которыя отрицательно относятся къ „мѣщанству“ Европы, то Добролюбовъ весьма недвусмысленно присоединился къ Герцену, хотя и понялъ терминъ „мѣщанство“ въ довольно узкомъ смыслѣ (III, 174—6). Кстати будетъ замѣтить, что и Чернышевскій весьма неглубоко понялъ смыслъ „мѣщанства“ въ устахъ у Герцена; онъ побѣдоносно (и отчасти совершенно правильно) противопоставилъ мѣщанству — социализмъ, но ничѣмъ не могъ парировать мнѣніе Герцена о возможности „мѣщанскаго социализма“. Но послѣ того, какъ Чернышевскій сталъ неоднократно и рѣзко нападать на точку зрѣнія Герцена по этому вопросу, Добролюбовъ ни разу не возвысилъ голоса въ защиту своей точки зрѣнія; очевидно, онъ перешелъ на сторону Чернышевскаго.

¹⁾ Цитаты по четырехтомному шестому изданію собр. соч. Добролюбова.

Итакъ, въ этой сторонѣ міровоззрѣнія Добролюбова мы не встрѣтимъ ничего новаго. Самъ Добролюбовъ вполне прозрачно описываетъ свое развитіе, подъ видомъ развитія какого-то знакомаго, рассказывая какъ онъ „изъ консервативной безответственности стремительно перескочилъ въ *opposition légale*“, и какъ затѣмъ, бросивъ сухія и абстрактныя схемы, сдѣлалъ послѣдній шагъ: „отъ отвлеченнаго закона справедливости я перешелъ къ болѣе *реальному требованію человеческого блага*; я всё свои сомнѣнія и умствованія привелъ, наконецъ, къ одной формулѣ: *человѣкъ и его счастье*“ (III, 290—2; курсивъ нашъ). Переводя это съ эзопскаго языка того времени, мы увидимъ во всемъ этомъ переходъ Добролюбова отъ либерализма къ социализму и именно къ тому его пункту, который лежалъ въ основаніи всего міровоззрѣнія Чернышевскаго: къ благу реальной личности, какъ къ главному критерию. Приматъ народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ также былъ усвоенъ Добролюбовымъ вслѣдъ за Чернышевскимъ, причемъ у Добролюбова онъ принялъ только нѣсколько иную окраску, обратившись въ характерный вполнѣ для русскаго социализма приматъ социальнаго надъ политическимъ. Въ 4-мъ номерѣ „Свистка“ (1859 г.) Добролюбовъ помѣстилъ злую пародію на знаменитый „Ямбъ“ Пушкина; онъ описываетъ въ немъ, какъ

Прогрессъ стопою благородной
Шелъ тихо торною стезей,

въ то время какъ голодный народъ требовалъ хлѣба и не хотѣлъ идти за Прогрессомъ:

„Что дастъ онъ намъ? Чему онъ служить?
Зачѣмъ мы съ нимъ теперь идемъ?
И нынче всякъ, какъ прежде, тужить,
И нынче съ голода мы мремъ“...
— „Молчи, безумная толпа!

— гнѣвно перебиваетъ толпу Прогрессъ: —

Ты любишь наѣдаться сыто,
Но къ высшей правдѣ ты слѣпа,
Покажеть брюхо не набито!
Скажи какую хочешь рѣчь
Тебѣ съ парламентской трибуны:
Но хлѣбъ тебѣ коль нечѣмъ печь,
То ты презришь ея перуны
И не поймешь ея красоту!..“

Толпа иронически отвѣчаетъ на всю эту тираду:

„Нась натошакъ не убѣждай,
Но обезпечь для насъ работу
И честно плату выдѣлай:
Одѣнимъ мы твою заботу,—
Пойдемъ въ палаты засѣдать
И будемъ рѣчи вдохновенной
О благоденствіи вселенной
Свѣтло и радостно внимать!“

И вотъ заключительный аккордъ — отвѣтъ Прогресса:

„Подите прочь! Какое дѣло
Прогрессу мирному до васъ!
Жужжанье ваше надоѣло:
Смирите вашъ строптивый гласъ!
Прогрессъ—совсѣмъ не богадѣльня:
Онъ—служба будущимъ вѣкамъ;
Не остановится безцѣльно
Онъ для пособья бѣднякамъ“...

Какъ видимъ, въ этой ядовитой пародіи вполнѣ ясно сказались взгляды Добролюбова на націю и народъ, хотя и безъ такой терминологіи, причѣмъ однако онъ перенесъ центръ тяжести съ противопоставленія социальнаго экономическому (распредѣленія—производству) на встрѣчавшееся нами уже у Герцена противоположеніе социальнаго и политическаго, причѣмъ однако критерій въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же—благо реальной личности.

Если мы отмѣтимъ еще сочувственное отношеніе Добролюбова къ теоріи естественнаго права, какъ основѣ социализма, и его вполнѣ недружелюбное отношеніе къ анархизму (III, 95—6; I, 474; III, 448 и сл.), то закончимъ этимъ знакомство съ общественными взглядами Добролюбова. Въ нихъ, какъ видимъ, мало оригинальнаго. Но тѣмъ подробнѣе надо познакомиться съ его пониманіемъ „личности“. Принципъ блага реальной личности былъ у Добролюбова одинаковъ съ Чернышевскимъ; но пониманіе имъ роли и значенія личности было вполнѣ „свое“.

Въ самомъ началѣ своей статьи о Станкевичѣ (1858 г.) Добролюбовъ прежде всего останавливается на вопросѣ о роли личности въ исторіи; мы уже много разъ повторяли, что вопросъ этотъ не надо смѣшивать съ вопросомъ объ индивидуализмѣ: мы видѣли даже, что иногда индивидуалисты не признаютъ значенія личности, въ то время какъ анти-индивидуалисты преувеличиваютъ роль лич-

ности въ исторіи. Добролюбовъ занимаетъ въ этомъ вопросѣ среднее положеніе, не преуменьшая, но и не преувеличивая роли и значенія личности; въ этомъ отношеніи онъ ближе всего подошелъ къ Герцену, который, какъ мы помнимъ, признавалъ и роль личности и значеніе среды: „личность создается средой и событіями,— говорилъ Герцень, — но и событія осуществляются личностями и несутъ на себѣ ихъ печать: тутъ взаимодѣйствіе“... Эту же мысль съ нѣскольکو иной точки зрѣнія развиваетъ и Добролюбовъ. „...О правахъ личности—говоритъ онъ—существуютъ два противоположные взгляда, оба ошибочные въ своихъ крайностяхъ. Одинъ, происходя отъ неуваженія къ личности вообще, отъ непониманія правъ каждаго человѣка, приводитъ къ неумѣренному, безразсудному поклоненію нѣсколькимъ исключительнымъ личностямъ“... Это весьма тонкое и мѣткое замѣчаніе, доказывающее, что теорія „героевъ“ не только не является индивидуалистической, какъ могло бы казаться съ перваго раза, но, напротивъ, граничитъ съ „отмѣненіемъ“ личности неуваженіемъ къ ней; эту теорію Добролюбовъ рѣшительно отвергаетъ. Но это только одна сторона вопроса; съ другой стороны „пустились теперь въ другую крайность: въ уничтоженіе вообще личностей. Важно общее теченіе дѣлъ..., важно развитіе народа и человѣчества, а не развитіе отдѣльныхъ личностей..., личность сама по себѣ не имѣетъ никакого значенія и мы не должны обращать на нее вниманія“ (II, 5—6). Такова вторая крайность, не менѣе анти-индивидуалистическая, чѣмъ первая; Добролюбовъ первый отмѣтилъ, что какъ теорія „героевъ“, такъ и теорія „толпы“ въ своемъ крайнемъ проявленіи одинаково унижаютъ личность. Оба этихъ крайнихъ взгляда одинаково антипатичны Добролюбову (см., однако, I, 522); его точка зрѣнія синтетична. Онъ прекрасно уподобляетъ значеніе „великаго человѣка“ дождю, который освѣжаетъ землю, но который однако есть результатъ испареній, поднимающихся съ той же земли (II, 68). „Конечно, ходъ развитія человѣчества не измѣняется отъ личностей“, заявляетъ онъ, но унижать и уничтожать личности можно только „въ сферѣ отвлеченной мысли..., имѣя дѣло только съ идеями“... (II, 6). Совершенно не то въ сферѣ реальной жизни: въ ней отдѣльныя личности играютъ несомнѣнную, а иногда и большую роль, хотя бы совершенно незамѣтную съ высоты птичьяго полета, при взглядѣ на общій ходъ исторіи; такъ, на примѣръ, движеніе народонаселенія въ какой-нибудь губерніи нисколько не измѣнится отъ пребыванія въ этой губерніи прекраснаго доктора, вылѣчившаго многихъ трудно-больныхъ; но

это не уменьшает значения личности предполагаемого доктора. Общий вывод — несомненно верный и изящно сформулированный — тот, что в сферах отвлеченной мысли роль личности в истории ничтожна, в сферах же реальной жизни эта роль может быть весьма и весьма велика (II, 6).

Пользуемся случаем к стати указать на отношение Добролюбова к вопросу о роли интеллигенции; он подробно остановился на этом вопросе в статье „Литературныя мелочи прошлаго года“ (1859 г.), противопоставляя интеллигенцию „литературѣ“, т. е. дѣятелям литературы, и доказывая главным образом, что литература не может ни в чемъ приписать себѣ инициативы (II, 397—408), а что всѣ жгучіе вопросы современности зародились в обществѣ, в интеллигенціи, а потомъ уже перешли на столбцы журналовъ. Это вполне согласно съ основной точкой зрѣнія Добролюбова; онъ хотѣлъ доказать, что не литература ведетъ за собой общество, то-есть не отдѣльныя личности — толпу, но общество рождаетъ в себѣ вопросы, находящіе свою формулировку в литературѣ: дождь падаетъ на землю не изъ небесныхъ резервуаровъ съ кранами, а накапливается изъ испареній той же земли.

Возвращаемся однако къ статьѣ Добролюбова о Станкевичѣ, в которой затронуть цѣлый рядъ глубоко важныхъ для того времени вопросовъ. Однимъ изъ такихъ вопросовъ былъ вопросъ о лишнихъ людяхъ, поставленный ребромъ еще Чернышевскимъ в его статьѣ по поводу тургеневской „Аси“ („Русскій человѣкъ на rendez-vous“; „Атеней“ 1858 г., № 3). В этой статьѣ Чернышевскій ясно вскрылъ, что лишніе люди — жертвы эпохи официальнаго мѣщанства, и призналъ даже, что они, по выраженію Бѣлинскаго, „благороднѣйшіе сосуды духа“, загубленные средой. „Вы вините человѣка — замѣчаетъ Чернышевскій: — всмотритесь прежде, онъ ли въ томъ виноватъ, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества; всмотритесь хорошенько, быть можетъ, тутъ вовсе не вина его, а только бѣда его“... Поэтому для Чернышевскаго лишніе люди — только „симптомъ эпидемической болѣзни, укоренившейся в нашемъ обществѣ“. Это не помѣшало однако Чернышевскому обрушиться на лишніе людей всей тяжестью своей критики и относиться къ нимъ чѣмъ дальше, тѣмъ беспощаднѣе и беспощаднѣе.

Интеллигенція семидесятыхъ годовъ вынесла лишнимъ людямъ оправдательный приговоръ. „Развѣ рудинскіе разговоры, зажигающіе сердца и будящіе мысль — не дѣло? Я больше спрощу: много ли

найдется большихъ, выдающихся русскихъ людей, которымъ выпало на долю что-нибудь, кромѣ разговоровъ?“ — спрашивалъ Михайловскій (въ 1874 г.). Именно такъ смотрѣли на себя и сами лишніе люди: „неужто надо непременно дѣлать дѣла, чтобы дѣлать дѣло?“ — спрашивалъ четвертью вѣка раньше Чаадаевъ. Въ своей статьѣ о Станкевичѣ, написанной почти одновременно съ вышеупомянутой статьёй Чернышевскаго, Добролюбовъ близко подходитъ къ такой точкѣ зрѣнія. Онъ усиленно отстаиваетъ право личности на свободу, а въ своемъ отношеніи къ лишнимъ людямъ признаетъ слово тоже дѣломъ: болѣе того, онъ рѣшительно возстаетъ противъ того, направеннаго противъ лишнихъ людей и часто высказывавшагося въ то время взгляда, что человѣкъ есть прежде всего работникъ и что трудъ—его назначеніе. „Не такъ давно одинъ изъ нашихъ даровитѣйшихъ писателей высказалъ прямо этотъ взглядъ, сказавши, что цѣль жизни не есть наслажденіе, а, напротивъ, есть вѣчный трудъ, вѣчная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодѣйствуя своимъ желаніямъ вслѣдствіе требованій нравственнаго долга“. Рѣчь идетъ, очевидно, о Тургеневѣ и о заключительныхъ строкахъ его разсказа „Фаустъ“ (1855 г.)¹⁾; впрочемъ тѣ же самыя мысли въ нѣсколько иной окраскѣ высказывали впослѣдствіи Базаровъ, а раньше—Чернышевскій: природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ. Не трудно видѣть полнѣйшую анти-индивидуалистичность подобныхъ сужденій; Добролюбовъ останавливается главнымъ образомъ на томъ, что жизнь человѣка есть, якобы, вѣчная жертва вслѣдствіе требованій нравственнаго долга, и ополчается противъ этого также вполнѣ анти-индивидуалистическаго взгляда. Дѣйствительно, также какъ мы не имѣемъ права суживать понятіе „человѣка“ въ тѣсныя рамки „работника“, также не имѣемъ права считать отреченіе человѣка (и прежде всего отреченіе отъ своей личности) первымъ и главнымъ требованіемъ нравственнаго долга. „Взглядъ этотъ крайне печаленъ,—говоритъ Добролюбовъ,—потому что потребности чело-вѣческой природы онъ прямо признаетъ противными требованіямъ долга; и, слѣдовательно, принимающіе такой взглядъ признаются въ своей крайней испорченности и нравственной негодности“

¹⁾ Вотъ эти нѣсколько строкъ: „Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслажденіе... жизнь тяжелый трудъ. Отреченіе, отреченіе постоянное—вотъ ея тайный смыслъ, ея загадка; не исполненіе любимыхъ мыслей и мечтаній, какъ бы онѣ возвышенны ни были,—исполненіе долга, вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться чело-вѣку“...

(II, 7). Отрекаться от своей личности и приносить себя в жертву требованиям долга будетъ лишь тотъ человѣкъ, у котораго стремленія и долгъ лежать въ различныхъ плоскостяхъ; вообще же говоря, у нормальнаго человѣка стремленія не должны расходиться съ требованіями нравственнаго долга. Впрочемъ Добролюбовъ постоянно подчеркиваетъ, что „долгъ“ и „нравственность“ онъ понимаетъ вовсе не въ смыслѣ ходячей морали, требующей жертвы и отреченія, какъ основной добродѣтели. Въ статьѣ „О нравственной стихіи въ поэзіи“ (диссертация Ореста Миллера, 1858 г.) Добролюбовъ особенно подчеркиваетъ свое несогласіе съ основными положеніями такой морали: „Кто сумѣлъ сдѣлаться слугою до того, чтобы забыть о своей собственной самостоятельности,—говорить онъ,—не думать о неотъемлемыхъ правахъ, принадлежащихъ естественно каждому человѣку, словомъ, кто умѣлъ *отречься отъ своей личности* (курсивъ Добролюбова), тотъ и осуществилъ нравственный идеалъ рутинныхъ моралистовъ“... (II, 315). Идеалъ этотъ безконечно ненавистенъ Добролюбову, который не находитъ достаточно рѣзкихъ словъ, чтобы заклеить „это гнилое, тупоумное ученіе о приниженіи личности, объ аскетическомъ, безплодномъ пожертвованіи живою дѣятельностью ради какого-то внѣшняго, невѣдомо кѣмъ и какъ установленнаго принципа о долгѣ и нравственности“ (II, 315 — 316); въ другомъ мѣстѣ онъ, очевидно имѣя въ виду славянофильство, съ еще большей рѣзкостью говорить о „гнусной морали, предписывающей терпѣніе безъ конца и отреченіе отъ правъ собственной личности...“ (III, 11). „Сохраните же свою личную самостоятельность противъ всякаго авторитета, сохраните свою внутреннюю нравственность противъ всякихъ внѣшнихъ внушеній, противъ всего, что насильственно захотятъ навязать вамъ подъ ложнымъ названіемъ *дома*“—съ такимъ горячимъ увѣщаніемъ обращается Добролюбовъ къ молодежи (II, 324). Изъ всего этого видно, что отнюдь не ходячую, книжную мораль имѣлъ въ виду Добролюбовъ, когда указывалъ, что стремленія человѣка должны совпадать съ нравственными требованіями; если стремленіе человѣка заключается въ жадѣ жертвы и въ желаніи отреченія отъ личности, то пусть онъ жертвуетъ собой—и это въ данномъ случаѣ будетъ согласно съ его нравственными требованіями. Но—и въ этомъ главная мысль Добролюбова—никто не имѣетъ права частный случай возводить въ норму и требовать отреченія отъ своей личности, какъ общаго правила: „романтическія фразы объ отреченіи отъ себя, о трудѣ для самаго труда или „для такой цѣли.

которая съ нашей личностью *ничего общаго* не имѣтъ“, къ лицу были средневѣковому рыцарю печальнаго образа: но онѣ очень забавны въ устахъ образованнаго человѣка нашего времени... Человѣкъ не иначе можетъ удовлетвориться, какъ полнымъ согласіемъ съ самимъ собою, и... искать этого удовлетворенія и согласія всякій не только можетъ, но и долженъ“ (II, 14). Все это ярко индивидуалистическія мысли, вполне несогласныя съ принципами утилитаристической морали, которую позднѣе проповѣдывалъ Чернышевскій. Утилитарная мораль, принципъ которой держался какъ онѣ, такъ въ послѣдствіи и Добролюбовъ, еще не выразилась у Чернышевскаго во всей своей полнотѣ, а потому мы отлагаемъ рѣчь о ней до знакомства съ этическими взглядами Писарева; пока мы замѣтимъ только, что Добролюбовъ никогда не понималъ утилитаристическіе принципы въ смыслѣ рѣзкаго и грубаго, мѣщанскаго эгоизма. Онѣ прекрасно сознавалъ, быть можетъ не безъ вліянія Герцена, что эгоизмъ эгоизму рознь, что есть „грубые эгоисты, которыхъ взглядъ узокъ“ (II, 10); и что есть „благородный эгоизмъ самобытной личности“ (II, 247); первый является атрибутомъ мѣщанства, второй — послѣдовательнаго индивидуализма, согласно нашей терминологіи. Но это между прочимъ, а теперь мы еще разъ подчеркиваемъ, что міровоззрѣніе Добролюбова не было тѣмъ одностороннимъ и одностороннимъ утилитаризмомъ, какимъ оно сдѣлалось отчасти у Писарева, а еще болѣе въ писаревщинѣ; широта взгляда Добролюбова особенно ясно выразилась въ его отношеніи къ лишнимъ людямъ и къ личности Станкевича; мы приведемъ здѣсь подлинныя слова Добролюбова, тѣмъ болѣе что они особенно правильно и ясно освѣщаютъ типъ лишняго человѣка. „По нашему мнѣнію— это слова Добролюбова—опредѣляютъ нравственное достоинство лица и, слѣдовательно, права его на общественное уваженіе по одному только количеству пользы, принесенной имъ, несправедливо. Это точно такъ же односторонне, какъ и сужденіе о человѣкѣ по однимъ его намѣреніямъ и убѣжденіямъ: одно слишкомъ субъективно, другое совершенно объективно... Человѣкъ высокочестный и нравственный въ своей жизни вполне достоинъ уваженія общества именно за свою честность и нравственность... Даже натура чисто-созерцательная, не проявившаяся въ энергической дѣятельности общественной, но нашедшая въ себѣ столько силъ, чтобы выработать убѣжденія для собственной жизни и жить не въ разладѣ съ этими убѣжденіями,—даже такая натура не остается безъ благотворнаго вліянія на общество, именно своей личностью...“ (II, 15—16). Вотъ без-

спорная истина, но и не менѣе безспорная ересь для міровоззрѣнія шестидесятихъ годовъ, которой не могъ раздѣлять Чернышевскій; быть можетъ, отчасти и подъ его вліяніемъ Добролюбовъ черезъ полгода измѣнилъ свою точку зрѣнія и строго осудилъ лишнихъ людей за ихъ приверженность слову, а не дѣлу, какъ мы это увидимъ ниже. Для насъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ былъ правъ въ первомъ случаѣ, когда протестовалъ противъ мнѣнія о бесплодности жизни чисто-созерцательной природы лишняго человѣка и находилъ, что „говорить это—значитъ обнаружить полное неуваженіе къ развитію индивидуальности человѣка и выразить претензію на абстрактное самоотреченіе, которое въ сущности есть не что иное, какъ обезличеніе“ (II, 21). Подъ давленіемъ міровоззрѣнія эпохи и окружающей среды Добролюбовъ вскорѣ началъ именно „говорить это“, и такой фактъ даетъ лишнее цѣнное указаніе на сильное вліяніе, оказываемое на него Чернышевскимъ. Самъ Добролюбовъ дорого цѣнилъ личность, но въ то же время не зналъ, какъ примирить права индивидуальности съ требованіями общества; поддавшись теченію, онъ началъ высоко ставить дѣла и презирать слова, намѣренно игнорируя, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ слово есть большее и цѣнное дѣло, и что ужъ во всякомъ случаѣ слова Рудина выше дѣлъ Штольца. Впрочемъ, рѣзко порвавъ вскорѣ съ людьми сороковыхъ годовъ, Добролюбовъ отдавалъ имъ должное и признавалъ, что именно они расчистили дорогу для молодого поколѣнія, хотя и увлекались чрезмѣрно абсолютными принципами. Здѣсь Добролюбовъ характеризуетъ свою эпоху, какъ время реалистическаго отношенія къ человѣку; онъ смѣется надъ абсолютными принципами въ родѣ „*fiat justitia, pereat mundus*“, „лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жизни“, и т. д.: для людей новаго времени все это слишкомъ абстрактно. „На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое, существенное благо“; человѣкъ же этотъ не абстракція, а „настоящій человѣкъ, состоящій изъ плоти и крови, съ его дѣйствительными, а не фантастическими отношеніями ко всему внѣшнему міру“ (II, 392). Личность этого человѣка должна быть ограждена отъ всякихъ покушеній на ея самостоятельность, ибо „первое, что является непререкаемой истинной для простого смысла, есть неприкосновенность личности“ (III, 368). Во всемъ этомъ мы видимъ попытку разграниченія понятій реальной личности и абстрактнаго человѣка, составлявшаго главную сторону воззрѣній эпигоновъ западничества (а не самихъ западниковъ, людей сороковыхъ годовъ — въ этомъ ошибка Добролюбова).

Во всякомъ случаѣ, въ 1858 году Добролюбовъ стоялъ на сторонѣ лишихъ людей, или, по крайней мѣрѣ, понималъ ихъ внутреннюю трагедію; а вѣдь „понять“—значить „оправдать“.

Не прошло однако и полугода, какъ Добролюбовъ рѣзко измѣнилъ свою точку зрѣнія и выступилъ съ желчной и ядовитой статьей противъ людей сороковыхъ годовъ („Литературныя мелочи прошлаго года“, 1859 г.; „Благонамѣренность и дѣятельность“, 1860 г.). Нѣкоторые хотять объяснить это извѣстнымъ столкновеніемъ Добролюбова съ людьми сороковыхъ годовъ послѣ обѣда въ память Бѣлинскаго (6 іюня 1858 г.); нечего и говорить, насколько такое „объясненіе“ недостойно по отношенію къ Добролюбову. Объясненіе напрашивается само собой, если мы вспомнимъ, что 1858—1859 г. былъ годомъ перехода Чернышевскаго (а значитъ и Добролюбова) отъ opposition légale къ революціонному настроенію. Естественно, что революціонное „дѣло“ должно было замѣнить собою оппозиціонныя „слова“, и Добролюбовъ именно въ это время заявлялъ въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи:

На трудъ и битву я готовъ,
Лишь бы начать въ союзъ нашемъ
Живое дѣло, вмѣсто словъ!.

Отсюда понятна вражда къ представителямъ „словъ“—лишимъ людямъ, и вообще людямъ сороковыхъ годовъ. Теперь для Добролюбова эти люди нисколько не выше окружающей ихъ среды, они такіе же типичныя мѣщане. Въ этомъ отождествленіи мѣщанъ и лишихъ людей—главный смыслъ знаменитой статьи Добролюбова „Что такое обломовщина? (1859 г.)“, какъ мы въ этомъ скоро убѣдимся.

Прежде чѣмъ коснуться этого вопроса, посмотримъ, какъ понималъ Добролюбовъ „мѣщанство“ (конечно, не употребляя этого термина) и какъ относился къ нему. Не надо забывать, что дѣтство и юность Добролюбова прошли въ разгаръ террора системы официальнаго мѣщанства, такъ что ненависть его къ этой системѣ коренилась глубоко въ самой жизни. Онъ понялъ, что система эта создала „жалкую безцвѣтность пятидесятихъ годовъ“, что принципы и разсужденія этой системы покоятся на крѣпостномъ правѣ, что „исходный пунктъ всѣхъ этихъ разсужденій—отрицаніе личности въ подчиненномъ существѣ, признаніе его за тварь, за вещь; поэтому первая его борьба была борьбой съ мѣщанствомъ за широту и глубину человѣка, за „возвышеніе правъ человѣческой личности“ (III,

318, 360, 441). Къ этическому мѣщанству онъ испытывалъ такую же ненависть, какъ и Бѣлинскій, и Чернышевскій; „лучше потерпѣть кораблекрушеніе, чѣмъ увязнуть въ тинѣ“,—такъ формулировалъ свое отношеніе къ жизни Добролюбовъ, случайно повторяя почти дословно знакомыя намъ слова Бѣлинскаго, стремившагося изъ тихой пристани съ зеленой плѣсенью и мягкой тиной въ открытое море.

Взгляды Добролюбова на мѣщанство ярче всего выразились въ его отношеніи къ мѣщанству „темнаго царства“ и къ мѣщанству обломовщины. Въ статьяхъ Добролюбова объ Островскомъ и о нарисованномъ послѣднимъ „темномъ царствѣ“ выразилось такое глубокое пониманіе и сути темнаго царства, и творчества замѣчательнаго нашего драматурга, что и теперь, по прошествіи почти полувѣка, къ нимъ можно прибавить немного. Темное царство—это царство величайшей узости понятій и плоскости чувствъ; это царство обезличенныхъ и угнетенныхъ съ одной стороны и самодуровъ—съ другой; это царство, въ которомъ никто не имѣетъ понятія о величайшей цѣнности человѣческой личности; это царство сплошного, беспросвѣтнаго мѣщанства. Самодуръ, въ родѣ Брускова или Гордѣя Карпыча, полновластный царь въ этой темной средѣ; его слово—законъ, его воля—ненарушима. Главное его стремленіе—окончательно забить и уничтожить всякое проявленіе личности въ окружающей его средѣ,—таковъ „порядокъ“, завѣщанный ему предками; надо, чтобъ жена „боялась“, чтобъ сынъ и дочь „изъ воли не выходили“. Для того, чтобы окончательно забить личность, „самодуры сочиняютъ свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по ихъ толкованіямъ выходитъ, что чѣмъ болѣе личность стерта, неразличима, непримѣтна, тѣмъ она ближе къ идеалу совершеннаго человѣка“ („Темное царство“, 1859 г.; III, 68). Это „сглаженіе, *оттѣненіе*“ человѣческой личности“ (III, 61), вполне достигаетъ своей цѣли: самодуръ непрекословно царитъ и властвуетъ въ своемъ темномъ царствѣ обезличенныхъ и забытыхъ, которымъ „не даютъ ничего, что въ жизни можетъ ограждать личность“ (III, 64); но, съ другой стороны, вся эта система въ концѣ концовъ должна привести къ самымъ нежелательнымъ для самодура послѣдствіямъ. „Уничтожая права личности, ставя страхъ и покорность основою воспитанія и нравственности, эти начала только и могутъ обуславливать собою произволь, угнетеніе и обманъ“ (III, 73). Самодуръ поэтому никогда не можетъ быть спокоенъ: онъ знаетъ, что на его грубый произволь и насиліе ему всегда могутъ отвѣтить ложью и

обманомъ; къ тому же самодуръ—и это его неотъемлемое, неизбежное свойство—всегда слабъ и трусливъ, онъ артачится и издѣвается, пока не встрѣчаетъ должнаго противодѣйствія, и онъ всегда боится встрѣтить такое противодѣйствіе въ своемъ же темномъ царствѣ. Сталкиваясь съ другимъ такимъ же самодуромъ, онъ неизбежно высказываетъ весь свой эгоизмъ, заложенный въ него все той же моралью подавленія личности, и „находя, что личныя стремленія его принимаются всѣми враждебно, мало-по-малу приходитъ къ убѣжденію, что дѣйствительно личность его, какъ и личность всякаго другого, должна быть въ антагонизмъ со всѣмъ окружающимъ и что, слѣдовательно, чѣмъ болѣе онъ отнимаетъ отъ другихъ, тѣмъ полнѣе удовлетворитъ себя“ (III, 60). И эта волчья этика достойно увѣнчиваетъ собою всю систему самодурства, всю касту темнаго царства; Добролюбовъ удивительно ярко и образно объяснилъ и обнажилъ внутреннюю язву этого царства фактомъ „отмѣненія“ въ немъ человѣческой личности. Въ другой своей статьѣ („Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“, 1860 г.) онъ указалъ на характеръ Катерины какъ на первый проблескъ протеста обезличенной, но сильной личности; это характеръ рѣшительный, исполненный вѣры въ новые идеалы, предпочитающей смерть обезличенію. Это характеръ глубоко-вѣрный чутью жизненной правды, цѣльный и гармоничный; „въ этой цѣльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявъ всякую внутреннюю силу, продолжаютъ держаться внѣшнею механическою связью“ (III, 459). Сильные люди появились въ темномъ царствѣ.

Островскій, этотъ крупный и тонкій художникъ, конечно, не имѣлъ въ виду придавать своимъ драмамъ символическій характеръ, подразумѣвая подъ своимъ темнымъ царствомъ дореформенную Россію; а между тѣмъ это невольнo выразилось, какъ общій выводъ изъ всѣхъ его произведеній. Именно такое мнѣніе поддерживаетъ Добролюбовъ. Что *хотѣлъ* сказать своими произведеніями Островскій, это неумѣстный вопросъ, неумѣстный въ отношеніи къ крупному художественному таланту; но намъ важно не то, что *хотѣлъ* сказать авторъ, а то, что *сказалось* имъ, хотя бы и ненамѣренно (ср. III, 61 и III, 257); яркое же сопоставленіе темнаго царства и эпохи официального мѣщанства невольнo напрашивается, внѣ всякихъ намѣреній Островскаго. Добролюбовъ высказалъ это достаточно ясно. „Комедія Островскаго — осторожно подходитъ онъ къ этому пункту—...можетъ наводить на многія аналогическія сообра-

женія“... (Ш, 22); аналогію провести не трудно, если вспомнить, что Добролюбовъ говорилъ объ „отмѣненіи личности“ и вспомнить также, что отмѣненіемъ личности характеризуется главнымъ образомъ эпоха официального мѣщанства. Пассивность темнаго царства — основной его признакъ. (Ш, 98), а отъ этого и происходитъ, что „цѣлое общество терпитъ въ своихъ нравахъ такое множество самодуровъ, мѣшающихъ развитію всякаго порядка и правды“ (Ш, 94). А самодуры эти — вездѣ и повсюду, начиная съ купцовъ, продолжая чиновниками и кончая выше: „вся бѣда въ вѣдомствѣ Вишневекаго („Доходное мѣсто“) оттого и происходитъ, что онъ самъ зараженъ самодурствомъ, а за нимъ ужъ и всѣ“ (Ш, 124); вездѣ вокругъ себя мы видимъ Брусковыхъ, Торцовыхъ, Уланбековыхъ и чувствуемъ на себѣ ихъ мертвящее дыханіе (Ш, 127). Но по цензурнымъ условіямъ того времени Добролюбовъ не могъ достаточно ярко отмѣнить невольно напрашивающуюся аналогію; сознавая это, онъ заканчиваетъ свою статью знаменательнымъ указаніемъ на метафорическій способъ выраженія, котораго онъ долженъ былъ держаться; „впрочемъ — прибавляетъ онъ — тѣ выводы и заключенія, которыхъ мы не досказали здѣсь, должны сами собой придти на мысль читателю“... (Ш, 130—131).

Полное подавленіе человѣка и личности — вотъ что болѣе всего возмущаетъ Добролюбова въ окружающемъ его мѣщанствѣ; онъ ненавидитъ людей безмятежно и ровно несущихъ, по выраженію Штольца, сосудъ жизни черезъ всѣ четыре времени года: „трудно удержать въ себѣ порывъ презрѣнія и даже негодованія противъ этихъ людей, которыхъ все нравственное достоинство заключалось въ умѣренности, аккуратности и терпимости“... (I, 361). Къ числу такихъ людей Добролюбовъ причислялъ и мѣщанъ, и лишнихъ людей. Однако такое отождествленіе онъ произвелъ уже послѣ 1858 года, т.-е. послѣ статьи „Н. В. Станкевичъ“, о которой мы говорили выше. До этого времени онъ ясно видѣлъ всю разницу между мѣщанами и лишними людьми, онъ ясно понималъ, что лишніе люди — не мѣщане по существу, что ихъ искалѣчила и извратила система и эпоха официального мѣщанства. „Это натуры гордыя, сильныя, энергическія (?) — говорилъ онъ про нихъ; — получая нормальное, свободное развитіе, онѣ высоко поднимаются надъ толпою и изумляютъ міръ богатствомъ и громадностью своихъ духовныхъ силъ. Эти люди совершаютъ великія дѣла, становятся благодѣтелями человѣчества. Но, задержанные въ своемъ самобытномъ развитіи, сжатые пошлою рутиною, узкими понятіями какого-нибудь весьма

ограниченнаго наставника, не имѣя простора для размаха своихъ крыльевъ, а принужденные брести тѣсной тропинкой, которая воспитателю кажется совершенно удобной и приличной, эти люди или выпадаютъ въ апатичное бездѣйствіе, становясь лишними на бѣломъ свѣтѣ, или дѣлаются ярыми, слѣпыми противниками именно тѣхъ началъ, по которымъ ихъ воспитывали“ (I, 211; „О значеніи авторитета въ воспитаніи“, 1857 г.). Все это очень мѣтко и въ общемъ достаточно вѣрно; еще подробнѣе Добролюбовъ вскорѣ остановился на томъ же вопросѣ въ статьѣ о „Губернскихъ Очеркахъ“ (1857 г.). Разбирая „Талантливыя натуры“ Салтыкова, онъ ставитъ вопросъ гораздо шире послѣдняго. Въ обществѣ, еще недостаточно сознавшемъ права человѣка и значеніе личности, непременно должны появиться два разряда людей, говоритъ Добролюбовъ; первые— „пассивные, безличныя и крайне ограниченныя, какъ въ своихъ способностяхъ, такъ и въ потребностяхъ“ (I, 423). Это—мѣщане. Они „тяжелы на подъемъ, неподвижны и тупо вѣрны одному, разъ навсегда заученному правилу, разъ навсегда принятому авторитету“... „Убѣжденій и принциповъ нѣтъ для этихъ людей: для нихъ существуютъ только правила и формы“... „Они не волнуются, не сомнѣваются, ...въ жизни они всегда исправны“... „Это уже люди убитые, безнадежныя“... (Ibid.). Другой разрядъ людей—это уѣздные Гамлеты, талантливыя натуры, лишніе люди; ихъ появленіе Добролюбовъ объясняетъ вліяніемъ среды (I, 424) и признаетъ хорошія ихъ стороны, находитъ для нихъ хотя слабое оправданіе, но все-таки считаетъ, что и мѣщане и лишніе люди *оба хуже* другъ друга (I, 425). Раздѣляя, хотя и не вполне ясно, мѣщанъ отъ лишнихъ людей, Добролюбовъ главное свое вниманіе обращаетъ на общія ихъ черты, это — „отсутствіе всякой самостоятельности, лѣнивая апатія и увлеченіе внѣшностью“ (Ibid.), т.-е. именно тѣ черты, которыя приближаютъ лишнихъ людей къ мѣщанству. Мы видѣли, что въ статьѣ о Станкевичѣ Добролюбовъ сталъ въ положеніе, быть можетъ, ненамѣреннаго апологета лишнихъ людей, но уже черезъ полгода рѣзко измѣнилъ свое мнѣніе; причины этого мы отмѣтили выше. Теперь Добролюбовъ беспощадно осуждаетъ людей сороковыхъ годовъ. Въ осужденіи этихъ людей было много жестокаго и задорно-молодого; въ этомъ сквозила и прямолинейность мысли, и нѣкоторая нетерпимость революціоннаго настроенія; интересно, что людей сороковыхъ годовъ Добролюбовъ главнымъ образомъ обвиняетъ въ абстрактности идеала, въ преклоненіи передъ „принципомъ“, т.-е. общей философской идеей, лежащей въ основѣ логики и морали. Немногіе,

подобно Бѣлинскому, умѣли слить самихъ себя съ своимъ принципомъ (II, 389—390); остальные или ударились въ фразу, или скрылись за теорію малыхъ дѣлъ, столь ненавистную Добролюбову (III, 286—288). Ихъ Добролюбовъ иронически называетъ *благонатьренными*, въ буквальномъ смыслѣ, и считаетъ ихъ, какъ и всѣхъ лишнихъ людей, совершенно *неумѣтными* для жизни и дѣятельности, въ которой нужны дѣла, а не слова. „Да, прекраснымъ стремленіямъ души мы не придаемъ никакого практическаго значенія, пока они остаются только стремленіями; да, мы цѣнимъ только факты, только по дѣйствіямъ признаемъ достоинство людей“ (III, 322).

Теперь понятно, почему въ статьѣ „Что такое обломовщина“ (1859 г.) Добролюбовъ пришелъ къ отождествленію мѣщанъ и лишнихъ людей; но въ то же время понятна и ошибочность подобнаго отождествленія. Какимъ образомъ онъ соединилъ воедино такія противоположности, какъ Штольца и Рудина? Какимъ образомъ Обломова, типичнѣйшаго кандидата въ мѣщанина, онъ принялъ за лишняго человѣка? А вотъ именно потому, что подмѣтилъ въ немъ „прекрасныя стремленія души“, не проявляющіяся въ фактахъ, потому что замѣтилъ въ немъ „безплодное стремленіе къ дѣятельности“ (II, 512). Этимъ самымъ онъ пожелалъ свести на нѣтъ различіе между мѣщанами и лишними людьми и вычеркнуть все то, что онъ раньше говорилъ о людяхъ сороковыхъ годовъ (напр., въ статьѣ о Станкевичѣ); намъ нечего указывать на то, въ какомъ изъ этихъ случаевъ онъ былъ правъ. Какъ бы то ни было, но даже смѣшивая мѣщанъ и лишнихъ людей, Добролюбовъ главнымъ образомъ направлялъ свои удары на ту полную безличность, которая была однимъ изъ наиболѣе общихъ слѣдствій эпохи официальнаго мѣщанства. Вообще говоря, та ненависть къ мѣщанству, которая прорывалась у Чернышевскаго въ рѣдкихъ случаяхъ (см., напр., его отношеніе къ поэзіи „умѣреннаго и аккуратнаго“ Горація, „Совр.“ 1857 г., № 1), выражалась у Добролюбова гораздо чаще и ярче.

Подводя общіе итоги всему сказанному выше про Добролюбова, мы можемъ теперь съ болѣею увѣренностью повторить то, что уже высказали разъ, наполовину въ видѣ предположенія: Добролюбовъ находился подъ громаднымъ, подъ исключительнымъ вліяніемъ Чернышевскаго, какъ бы ни отрицалъ это послѣдній (иначе пришлось бы допустить обратное, что совершенно невозможно). Разумѣется, это вліяніе могло быть взаимнымъ, но не трудно видѣть на чьей сторонѣ былъ перевѣсъ. Конечно, подвергаясь вліянію своего учителя, Добролюбовъ не повторялъ его мысли и слова; онъ продолжалъ

и развивалъ мысли, выработанныя имъ при общеніи съ такимъ могучимъ умомъ, какимъ былъ Чернышевскій. Провѣримъ это еще разъ на примѣрѣ отношенія ихъ обоихъ къ эстетикѣ; мы увидимъ еще разъ, какъ Добролюбовъ продолжалъ и развивалъ мнѣнія Чернышевскаго, автора „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“.

Диссертация эта (1854 г.), какъ принято думать, была первой ласточкой утилитаризма въ искусствѣ, того утилитаризма, который достигъ въ послѣдствіи крайней степени своего развитія у Писарева, а еще болѣе въ писаревщинѣ. Самъ Писаревъ въ своей статьѣ „Разрушеніе эстетики“ приписалъ честь (если въ этомъ есть честь) такого разрушенія автору „Эстетическихъ отношеній“. Все это требуетъ большихъ и большихъ оговорокъ. Начать съ того, что Чернышевскій никогда не думалъ разрушать эстетику и принижать всю ту область „прекраснаго“, которой Писаревъ не признавалъ и въ которой писаревцы видѣли только одно „irritatio spinalis“. Дѣйствительнымъ разрушителемъ эстетики, а потому и глубочайшимъ антииндивидуалистомъ, не понимавшимъ, какъ можетъ человѣческая личность испытывать эмоціи, непонятныя ему самому, былъ Писаревъ, точка зрѣнія котораго выяснится намъ въ послѣдствіи: Чернышевскій же только сдѣлалъ попытку перенесенія „прекраснаго“ изъ области искусства въ жизнь и въ этомъ отношеніи его индивидуализмъ не подлежитъ никакому сомнѣнію и нисколько не умаляется тѣми слѣдствіями, которыя были выведены изъ теоріи Чернышевскаго позднѣйшими шестидесятниками.

Къ искусству Чернышевскій дѣйствительно относится отрицательно, и притомъ по довольно неожиданной причинѣ: онъ его обвиняетъ въ сложномъ „мѣщанствѣ“, въ принимаемомъ нами смыслѣ этого слова, обвиняетъ его въ мертвенности, мелочности и подслащиваніи природы. Искусство, говоритъ Чернышевскій, наряжаетъ и умываетъ природу, мелочно отдѣлываетъ подробности; вообще „произведеніе искусства мелочнѣе того, что мы видимъ въ жизни и природѣ“... Пусть въ этомъ сказывается малое знакомство и невѣрное пониманіе искусства во всей его полнотѣ Чернышевскимъ, но зато всюду сквозитъ глубокая и сильная любовь къ дѣйствительной жизни и болѣе того—къ человѣческой индивидуальности. Конечно, диссертация Чернышевскаго во многихъ мѣстахъ просто вполне наивное, ученическое произведеніе, особенно тамъ, гдѣ онъ разсуждаетъ о несовершенствѣ скульптуры, живописи, музыки въ сравненіи съ совершенствомъ природы и жизни; но дѣло не въ исти-

ности такихъ взглядовъ Чернышевскаго—объ этомъ не можетъ въ настоящее время быть двухъ мнѣній — а въ его приниженіи того, что ему кажется мертвымъ, и возвеличеніи того, что ему кажется живымъ.— Лучшимъ опредѣленіемъ прекраснаго Чернышевскій считаетъ слѣдующее: „прекрасное есть жизнь, прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни“¹⁾. Исходя отсюда, Чернышевскій вполне логично пришелъ къ выводу, что дерево, растущее въ лѣсу, прекраснѣе нарисованнаго; это было, конечно, отрицаніемъ искусства, но уже одно то, что Чернышевскій могъ находить прекраснымъ живое дерево, живого человѣка, показываетъ, что онъ не повиненъ въ разрушеніи эстетики, а его страстная любовь къ жизни приближаетъ его эстетическія воззрѣнія къ индивидуализму. Критерій поэзіи — жизнь; критерій поэтическаго типа — индивидуальность: поэзія стремится къ живой индивидуальности, но успѣваетъ только приблизиться къ ней, и „степенью этого приближенія опредѣляется достоинство поэтическаго образа“. Вся эта теорія—діаметральная противоположность той, которая была общепризнанной у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ и съ которой мы познакомились у Бѣлинскаго; возражая гегельянской эстетикѣ на положеніе „прекрасное есть абсолютное“, Чернышевскій замѣчаетъ: „намъ, существамъ индивидуальнымъ, не могущимъ перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности.

Итакъ, ни о какомъ разрушеніи эстетики рѣчи быть не можетъ; можно говорить о переносѣ центра тяжести эстетики изъ искусства въ жизнь, а это совсѣмъ другое дѣло. Конечно, все это виждется на недоразумѣніи, но это не мѣшаетъ всей теоріи имѣть ярко индивидуалистическую окраску, а самому Чернышевскому быть сторонникомъ эстетическаго индивидуализма (мы говоримъ о Чернышевскомъ начала шестидесятыхъ годовъ). Глубоко характерно поэтому его отношеніе къ вопросу объ искусствѣ для искусства; разбирая его, Чернышевскій окончательно вскрываетъ всю глубину своего эстетическаго индивидуализма и высказываетъ истины, съ ко-

¹⁾ О связи этого положенія и вообще всей диссертациі Чернышевскаго съ философійю Фейербаха — см. нашу статью „Общественныя и умственныя теченія 60-хъ годовъ“ въ III томѣ „Исторіи русской литературы XIX в.“, изд. „Мір“.

торыми совершенно не согласился бы любой шестидесятникъ болѣе поздняго времени,—и это не только въ своей диссертациі, но и въ другихъ своихъ произведеніяхъ того времени. Искусство для искусства, по мнѣнію Чернышевскаго, вещь небывалая и невозможная, такъ какъ сводится въ сущности исключительно къ искусству формы; если подразумѣвать подъ нимъ свободу поэтическаго творчества, то и тогда дѣло не мѣняется. Поэтъ можетъ, конечно, въ разгарѣ Sturm und Drang періода воспѣвать розы и любовь—онъ въ своемъ правѣ, но только его никто не будетъ слушать; гоненіе на лирику въ шестидесятыхъ годахъ достаточно показало это. Вопросъ о чистомъ искусствѣ состоитъ не въ томъ „должна или не должна литература быть служительницею жизни“—двухъ отвѣтовъ на это, по мнѣнію Чернышевскаго, быть не можетъ,—а въ томъ, слѣдуетъ ли литературу ограничивать изящнымъ эпикуреизмомъ? Это, конечно, тоже односторонность, и Чернышевскій въ рѣшеніи этого вопроса становится на широкую точку зрѣнія, достойную его индивидуализма въ эстетикѣ: „нѣтъ нужды на односторонность отвѣчать другою односторонностью—говоритъ онъ:—за остракизмъ, которому защитники такъ называемаго чистаго искусства хотѣли бы подвергнуть всѣ другія идеи и направленія литературы, кромѣ эпикурейскаго, нѣтъ нужды платить остракизмомъ, обращеннымъ противъ эпикурейской тенденціи“... („Очерки гогол. пер.“; „Совр.“ 1856 г., № 12). Пусть существуетъ и такое „чистое искусство“, ибо „вольному воля, а поэтъ по преимуществу долженъ быть воленъ“ („Совр.“ 1857 г., № 3; Библиографія), но пусть жрецы такого искусства не удивляются полному пренебреженію со стороны своихъ современниковъ, интересы которыхъ, быть можетъ, лежатъ въ совершенно иной плоскости, и которые жаждутъ боевой поэзіи Тиртея, а не сладкихъ строфъ Анакреона...

Надо отдать справедливость Чернышевскому: во всемъ этомъ онъ проявилъ большую долю терпимости и наиболѣе вѣрное отношеніе къ вопросу объ искусствѣ за все время шестидесятыхъ годовъ. Но скорѣй—приблизительно около 1858—59 г.—онъ измѣнилъ свою позицію въ этомъ вопросѣ, такъ какъ утилитаризмъ, пріобрѣтшій къ тому времени въ немъ вѣрнаго адепта, оказалъ вліяніе на всѣ стороны міровоззрѣнія Чернышевскаго; мы уже знаемъ насколько отрицательнымъ было это вліяніе для широты и глубины этого міровоззрѣнія. Вліяніе утилитаризма не могло не отразиться на эстетическихъ воззрѣніяхъ Чернышевскаго; но такъ какъ къ тому времени онъ посвятилъ всѣ свои силы разработкѣ

соціальныхъ проблемъ, то сомнительная „честь“ введенія утилитаристическаго критерія въ эстетику выпала на долю Добролюбова. Если „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“ подготовили почву для пришествія утилитаризма въ область эстетики, то Добролюбовъ первый провелъ этотъ утилитаристическій критерій и тѣмъ самымъ явился первымъ представителемъ эстетическаго анти-индивидуализма въ шестидесятыхъ годахъ. Добролюбовъ категорически заявляетъ, что эстетическимъ критеріемъ долженъ быть принципъ полезности; онъ суживаетъ рамки искусства, заявляя, что такъ какъ искусство зависитъ отъ жизни, а не наоборотъ, то все не вытекающее „прямо и естественно“ изъ жизни является въ искусствѣ „уродливымъ и бессмысленнымъ“ (I, 467—468). Вотъ опасная точка зрѣнія, дающая большой просторъ произволу критика! Извольте, дѣйствительно, найти критерій для того, чтобы рѣшить, что прямо и естественно вытекаетъ изъ жизни и что нѣтъ. Далѣе Добролюбовъ становится на совершенно невѣрную почву, доказывая сторонникамъ искусства для искусства, что превосходное изображеніе древеснаго листочка *меньше важно*, чѣмъ превосходное изображеніе характера человѣка, — здѣсь налицо примѣненіе утилитарнаго критерія къ эстетическимъ явленіямъ; и хотя это вполне понятно для эпохи шестидесятыхъ годовъ, но нельзя не замѣтить, что больше правды было на сторонѣ Чернышевскаго, находившаго, что настоящее яблоко *красивѣе* нарисованнаго, чѣмъ на сторонѣ Добролюбова, замѣчающаго, что настоящее яблоко *полезнѣе* нарисованнаго. Конечно, вторая точка зрѣнія есть только дальнѣйшее развитіе первой, но это не мѣшаетъ первой болѣе приближаться къ истинѣ: по крайней мѣрѣ въ ней мы имѣемъ измѣреніе эстетическихъ явленій эстетическимъ же критеріемъ, въ то время какъ вторая точка зрѣнія измѣряетъ длину — пудами. Писаревъ довелъ эту вторую точку зрѣнія до крайняго развитія и явился дѣйствительно разрушителемъ эстетики; въ этомъ отношеніи онъ гораздо ближе къ Добролюбову, чѣмъ къ Чернышевскому. Добролюбовъ однимъ изъ первыхъ вычеркнулъ изъ своего словаря термины „красота“, „художественность“, а въ статьѣ „Черты для характеристики русскаго престопагодья“ (1860 г.) выразилъ достаточно ясно, что въ произведеніи искусства для него важна только цѣль, а не исполненіе ¹⁾. Отсюда былъ всего одинъ шагъ до воззрѣній Писа-

¹⁾ По этому поводу см. статью Достоевскаго „Г.—бовъ и вопросъ объ искусствѣ“ (въ журналѣ „Время“, 1861 г.). Это одна изъ лучшихъ критическихъ

рева, къ которымъ мы и переходимъ; теперь же всего нѣсколько заключительныхъ словъ о Добролюбовѣ.

Подобно Бѣлинскому и Чернышевскому Добролюбовъ не былъ литературнымъ критикомъ, по крайней мѣрѣ не былъ исключительно. Это былъ прежде всего публицистъ и общественный дѣятель и главная его сила заключается именно въ томъ, за что его такъ часто упрекали: онъ писалъ не о литературныхъ произведеніяхъ, а только *по поводу* ихъ. Вслѣдствіе этого онъ, конечно, не могъ измѣрять художественныя явленія эстетическимъ критеріемъ—и потому онъ не былъ критикомъ; но вслѣдствіе этого самаго онъ умѣлъ широко охватить вопросъ, изъ эстетической области перенести его въ общественную; а если прибавить къ этому его громадный талантъ страстнаго изложенія, то вполне понятно обаяніе, которымъ окружено его имя.

Въ исторіи развитія русской общественной мысли его значеніе велико, хотя его роль и не особенно самостоятельна. Такое мнѣніе не можетъ унижать Добролюбова уже по одному тому, что онъ умеръ двадцатипятилѣтнимъ юношей, въ возрастѣ, когда большинство только начинаетъ работать; одно это позволяетъ судить, какой громадный талантъ умеръ вмѣстѣ съ нимъ. Трудно себѣ представить, какую значительную роль онъ могъ бы сыграть въ исторіи русской общественной мысли, если бы не прервалась такъ преждевременно нить его жизни; теперь же ему суждено было сыграть роль соединительнаго звена между двумя половинами шестидесятихъ годовъ, между міровоззрѣніями Чернышевскаго и Писарева.

Писаревъ ярко характеризуетъ собою вторую половину шестидесятихъ годовъ; мы должны удѣлить ему много вниманія, если желаемъ распутать тотъ клубокъ противорѣчій, въ который запутались въ шестидесятихъ годахъ всѣ нити развивающейся русской общественной мысли. Та ариаднина нить, которая насъ вела доселѣ, поможетъ намъ найти выходъ и изъ созданнаго міровоззрѣніемъ шестидесятихъ годовъ лабиринта противорѣчій.

Литературная дѣятельность Писарева началась въ годъ смерти Добролюбова, вмѣстѣ съ появленіемъ извѣстной статьи перваго „Схоластика XIX вѣка“ въ 1861 г.; предисловіемъ къ этой дѣятельности были юношескія пробы пера, начиная съ 1857 г.; расцвѣтъ

статей Достоевскаго, прекрасно разъясняющая взгляды Добролюбова и шестидесятниковъ на искусство.

ея былъ въ 1862—1865 гг., и кончилась она статьей „Погибшіе и погибающіе“ (конца 1865 г.), послѣ которой изъ-подъ пера Писарева не вышло ничего болѣе или менѣе заслуживающаго вниманія. Преждевременная смерть его (1868 г.) не дала ему времени примирить всѣ бросающіяся въ глаза противорѣчія своего міровоззрѣнія и дать русской интеллигенціи цѣльное міросозерцаніе, въ которомъ она такъ нуждалась. Противорѣчія Писарева вполнѣ очевидны, особенно если разбирать его взгляды въ различные періоды его жизни; такъ, напримѣръ, циклъ статей „Схоластика XIX вѣка“, „Стоячая вода“, „Базаровъ“ (1861—1862 гг.) во многомъ противоположенъ по основнымъ взглядамъ другому циклу (1863—1864 гг.), состоящему изъ статей „Зарожденіе культуры“, „Цвѣты невиннаго юмора“, „Мотивы русской драмы“, „Реалисты“. Въ статьяхъ 1865 г. можно найти много противорѣчій взглядамъ всѣхъ предыдущихъ годовъ; очевидно, Писаревъ еще не завершилъ къ тому времени свою идейную эволюцію. Въ высшей степени тщетна однако попытка нѣкоего мѣщанина во профессорствѣ, посвятившаго противорѣчіямъ Писарева чуть не цѣлую книгу, „развѣнчать“ за эти противорѣчія замѣчательнѣйшаго нашего критика и публициста; не менѣе толстую книгу можно было бы посвятить и самопротиворѣчіямъ Бѣлинскаго въ трехъ періодахъ его дѣятельности, но такая работа могла бы снискать себѣ только печальную извѣстность. Что же касается противорѣчій у Писарева, то главное вниманіе надо обратить не на его противорѣчія, такъ сказать, „во времени“ (ибо они объясняются эволюціей его взглядовъ), а на его одновременныя противорѣчія въ общественныхъ вопросахъ и въ эстетикѣ: эти противорѣчія произвели то, что можно назвать мертвой зыбью индивидуализма и анти-индивидуализма въ бурную эпоху шестидесятыхъ годовъ.

Всѣ обстоятельства жизни Писарева сложились такъ, чтобы дать полный просторъ наличности и развитію всѣхъ противорѣчій его міровоззрѣнія. Начать съ того, что воспитаніе его прошло подъ ферулой системы официальнаго мѣщанства, отзвуки которой можно видѣть изъ его писемъ (1850—1856 г.), а также изъ статьи „Наша университетская наука“; отсюда понятна и естественна та жестокая ненависть къ мѣщанству, которую Писаревъ раздѣлялъ со всѣми шестидесятниками. Съ другой стороны на него оказало громадное вліяніе міровоззрѣніе первой половины шестидесятыхъ годовъ, выразившееся въ произведеніяхъ Чернышевскаго и Добролюбова и характеризуемое одновременно и социалистическими тенденціями и ярко-индивидуалистической ихъ обосновкой; отсюда у Писарева по-

стоянное требованіе „эмансипаціи личности“ и преклоненіе передъ личностью, переходящее въ ультра-индивидуализмъ. Примирить всѣ эти взгляды, свести ихъ къ одному цѣльному и гармоничному воззрѣнію Писареву не пришлось,—это выпало на долю критическому народничеству семидесятыхъ годовъ.

На отношеніи Писарева къ мѣщанству мы не будемъ останавливаться особенно подробно: оно не представитъ намъ чего-либо новаго сравнительно съ отношеніемъ къ мѣщанству Чернышевскаго или Добролюбова. Въ самомъ началѣ своей дѣятельности (1857—1859 г.), въ своихъ первыхъ юношескихъ пробахъ пера, Писаревъ—тогда еще добронравный студентъ, пропитанный насквозь мѣщанскими тенденціями, „овца“, по собственному его выраженію, относился къ мѣщанству болѣе чѣмъ снисходительно. Онъ чувствуетъ искреннѣйшія симпатіи къ Штольцу (I, 186—7¹⁾, Лаврецкаго считаетъ „мужественной личностью“ (I, 201—202, хотя см. 204), Рудина и лишнихъ людей считаетъ людьми „съ ограниченными умственными средствами“ (I, 264). Все это показываетъ прежде всего малое пониманіе литературныхъ и общественныхъ явленій; да и не удивительно: Писаревъ сознавался впослѣдствіи, что даже свою „Схоластику XIX вѣка“ онъ писалъ (уже въ 1861 г.) „положительно по слухамъ, о нашей литературѣ и критикѣ... не имѣлъ почти никакого понятія“... Послѣ 1861 г. положеніе радикально мѣняется, такъ какъ въ казематѣ Петропавловской крѣпости онъ имѣлъ достаточно времени (1862—1866 гг.) перечитать сотни томовъ и получить полное понятіе и о литературѣ и о критикѣ. Но свое отношеніе къ мѣщанству Писаревъ измѣнилъ гораздо раньше; уже въ статьѣ „Стоячая вода“ (1861 г.) онъ ясно видитъ окружающее его мѣщанство: „безличность, безгласность, инерція, куда ни поглядишь, такъ и лѣзутъ въ глаза“, говоритъ онъ (I, 405), и послѣ этого уже не жалѣетъ яркихъ красокъ для характеристики мѣщанства. Для мѣщанъ и лишнихъ людей онъ изобрѣтаетъ новые термины: первые для него—карлики, вторые—вѣчныя дѣти („Мотивы русской драмы“, 1864 г.); обоихъ вырабатываетъ наша жизнь, предоставленная своимъ собственнымъ принципамъ. „Карлики страдаютъ узостью и мелкостью ума, а вѣчныя дѣти—умственной спячкой“ (III, 301); отъ нихъ нечего ждать добра, такъ какъ даже „новая помѣсь карлика съ вѣчнымъ ребенкомъ“ дастъ только разновидность „старого тупоумія“. (Мы увидимъ, что такой „новой помѣсью“ въ

¹⁾ Цитаты по шеститомному изданію Павленкова (1900—1 гг.).

шестидесятыхъ годахъ былъ Молотовъ, отъ котораго, дѣйствительно, трудно ждать чего-либо путнаго). У карликовъ есть „и умишко, и кое-какая волишка, и миниатюрная энергія“, но все это такъ ничтожно, такъ неудовимо мелко... Одинъ только писатель, именно Гончаровъ, „пожелалъ возвести типъ карлика въ перлъ созданія; вслѣдствіе этого онъ произвелъ на свѣтъ Петра Ивановича Адуева и Андрея Ивановича Штольца“... Писаревъ не обинуясь говоритъ о своемъ „отвращеніи“ къ этому типу (III, 307 и 295). И это отвращеніе проходитъ красной нитью черезъ всѣ произведенія Писарева; уже въ одной изъ своихъ послѣднихъ статей („Романы Андре Лео“, 1868 г.) онъ съ симпатіей говоритъ о „самомъ безпощадномъ осужденіи самодовольнаго, трусливаго, тщеславнаго, корыстолюбиваго и легкомысленнаго мѣщанства... (которое) портитъ и развращаетъ все, чтò подчиняется его вліянію“ (VI, 453), и которое подавляетъ всякую личность, не желающую подчиниться (VI, 410). Мѣщанская этика претила ему до глубины души. „Мѣщанская (нравственность)—эпитетъ довольно выразительный,— замѣчаетъ Писаревъ;—нравственныя понятія, установленныя общественнымъ кодексомъ, узки, мелки, робки, непослѣдовательны, какъ мѣщанскій либерализмъ, эмансипирующій личность до *известныхъ предѣловъ*, какъ мѣщанскій скептицизмъ, допускающій критику ума *въ известныхъ границахъ*“ (I, 425; см. еще I, 348; курсивъ Писарева). Послѣдняя цитата особенно интересна тѣмъ, что изъ нея ясно видно, что Писаревъ не смѣшивалъ понятія „мѣщанства“ и „буржуазіи“; онъ *мѣщанскую* этику считаетъ *общественнымъ кодексомъ*. На слѣдующихъ страницахъ (I, 426—433) онъ обвиняетъ въ мѣщанствѣ все общество огуломъ, освобождая отъ этого обвиненія только передовую часть интеллигенціи.

Въ своемъ отношеніи къ мѣщанству Писаревъ только даетъ варьяціи на темы уже давно затронутыя и разработанныя главнымъ образомъ Герценомъ, а также Бѣлинскимъ и дѣятелями шестидесятыхъ годовъ; въ своихъ экономическихъ и соціальныхъ воззрѣніяхъ онъ также не пошелъ дальше Чернышевскаго. Ссылаясь на послѣдняго, онъ отрицательно относится къ экономическому либерализму, къ принципу *laissez faire* (V, 150) и къ „инсинуаціямъ московскихъ англомановъ“ противъ общины (VI, 299). Либераль, по ядовитому выраженію Писарева, это такой человекъ, который выражаетъ безграничную преданность „великимъ принципамъ“, возбуждающимъ въ немъ на самомъ дѣлѣ такія же чувства, какія вызываетъ персидская ромашка въ клопѣ; „либераль—это смиренная

корова, жестоко перетянутая подругой кавалерійскаго сѣдла, жалящая принять бравурную осанку и пуститься съ правой ноги галопомъ (V, 207—9). Такой приѣмъ полемики былъ однимъ изъ весьма мягкихъ въ эпоху шестидесятыхъ годовъ; впрочемъ, своими не вполне вѣжливыми сравненіями Писаревъ подчеркиваетъ только фактъ внутренняго противорѣчія либерализма, выставляющаго „великимъ принципомъ“ свободу человѣка, а стремящагося къ системѣ наибольшаго производства; это опять-таки варьяція на тему, разработанную Чернышевскимъ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что такіа экономическія и соціальныя воззрѣнія Писаревъ высказываетъ рѣдко и всегда вскользь, мимоходомъ, ясно показывая, что онъ не интересуется „человѣкомъ“, и что „личность“ занимаетъ первое мѣсто въ его чаяніяхъ и ожиданіяхъ.

Взгляды Писарева на личность болѣе или менѣ сформировались ко времени „Схоластики XIX вѣка“, т.-е. ко времени его дебюта въ „Русскомъ Словѣ“, въ журналѣ, настолько же характеризующемъ собою вторую половину шестидесятыхъ годовъ, насколько „Современникъ“ характеризовалъ собою первую половину этой эпохи. Между собою они были врагами, такъ какъ на знамени одного было написано: „индивидуализмъ“, а на знамени другого—„соціализмъ“. Но мы знаемъ, что подобное противопоставленіе основано лишь на недоразумѣніи и можемъ а ргіогі предвидѣть, что индивидуализмъ „Русскаго Слова“ былъ настолько же соціалистиченъ, насколько соціализмъ „Современника“—индивидуалистиченъ. Условно можно сохранить и эту терминологию, повторяя вслѣдъ за Шелгуновымъ (см. его „Воспоминанія“), что „областью *Современника* были учрежденія и порядки, областью *Русскаго Слова*—интеллигентная личность“.

Писаревъ сдѣлался въ 1861—1866 гг. главнымъ представителемъ и выразителемъ этого теченія, ставившаго во главѣ угла интеллигентную личность; однако и задолго до того времени для Писарева личность была главнымъ и наиболѣе цѣннымъ пунктомъ его убѣжденій. Правда, сперва это выражалось въ довольно наивной формѣ чистаго эгоизма, въ превознесеніи собственной личности: „я рѣшилъ сосредоточить въ себѣ самомъ всѣ источники моего счастья, (и) съ этого времени я началъ строить себѣ цѣлую теорію эгоизма“—пишетъ девятнадцатилѣтній Писаревъ (1859 г.) своей матери ¹⁾.

¹⁾ Письма Писарева до сихъ поръ не изданы; отрывки изъ нихъ можно найти въ біографіи Писарева (Е. Соловьева), въ „Воспоминаніяхъ“ Шелгунова и др.

Этот эгоизмъ, переходящій часто чуть-ли не въ мѣщанство, сопровождалъ Писарева до конца его дней; въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ къ Шелгунову (отъ 15 июня 1867 г.) онъ повторилъ почти въ тѣхъ же словахъ свою мысль: „я рѣшительно не могу, да и не хочу сдѣлаться настолько рабомъ какой бы то ни было идеи, чтобы отказаться для нея отъ своихъ личныхъ интересовъ, желаній и страстей. Я глубокий эгоистъ не только по убѣжденію, но и по природѣ“. Но оттѣнокъ мысли здѣсь уже совсѣмъ другой: въ 1859 г. Писаревъ держится эгоистической идеи, глубоко анти-индивидуалистичной по существу (сосредоточить *въ себѣ* источники своего счастья); восемь лѣтъ спустя окраска его взглядовъ уже вполне индивидуалистическая (онъ не хочетъ быть рабомъ идеи, личность для него дороже). Стремленіе отъ эгоизма къ этическому индивидуализму — ключъ ко всей литературной дѣятельности Писарева; поворотнымъ и раздѣльнымъ годомъ является 1864-ый, какъ это мы увидимъ, теперь же мы познакомимся поближе съ этическими возрѣніями Писарева.

Утилитаризмъ былъ вѣрой не одного Писарева, но, какъ мы знаемъ, всѣхъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ. О полной несостоятельности утилитаризма въ этикѣ мы еще будемъ говорить ниже (гл. IV); теперь мы только подчеркнемъ еще разъ, что утилитаризмъ является типичнымъ этическимъ анти-индивидуализмомъ; въ этомъ отношеніи существуетъ уже отмѣченная нами полная аналогія между нимъ и либерализмомъ. Либерализмъ кладетъ въ основу экономическое благо „человѣка“, причемъ послѣднее понятіе является у него двусмысленнымъ: говоря о человѣкѣ, либерализмъ думаетъ объ интересахъ общества и системы наибольшаго производства. Точно также утилитаризмъ является одинаково анти-индивидуалистичнымъ во всѣхъ своихъ разновидностяхъ, а особенно въ той, цѣль которой въ наибольшемъ счастьи наибольшаго числа людей (своего рода этическая система наибольшаго производства); поэтому анти-индивидуалистичнымъ онъ былъ у Чернышевскаго и Добролюбова. Надо, впрочемъ, прибавить, что русскій утилитаристъ шестидесятыхъ годовъ не шелъ далѣе азовъ и не пытался теоретически разработать свои положенія въ цѣльную систему; онъ принималъ догматично принципы удовольствія и пользы, клеилъ изъ нихъ доктрину эгоизма и останавливался, вполне довольный собою. Настолько же догматично онъ отвергалъ понятія нравственного сознанія или долга, считая его принадлежностью мѣщанской морали, и такимъ образомъ выплескивалъ изъ ванны вмѣстѣ съ водой и ребенка, говоря словами нѣмецкой пословицы.

Въ Писаревѣ сказался переломъ русской этической мысли отъ догматики къ критицизму. Дѣйствительно, наивный эгоизмъ долженъ впасть или въ мѣщанство, или обратиться въ эгоизмъ критическій, иначе говоря — въ этической индивидуализмъ; первое случилось въ писаревщинѣ, въ нигилизмѣ, второе — въ народничествѣ семидесятыхъ годовъ. Писаревъ въ этомъ отношеніи стоитъ ближе къ представителямъ народничества, чѣмъ къ своимъ не въ мѣру ретивымъ ученикамъ. Сперва онъ держался, какъ мы видѣли, взглядовъ наивнаго эгоизма и проводилъ ихъ въ своихъ статьяхъ и письмахъ. Его девизъ „жить своимъ умомъ въ свое удовольствіе“, его цѣль „вынести изъ каждаго своего усилія возможно большее количество наслажденія; это, по моему мнѣнію, альфа и омега всякой разумной человѣческой дѣятельности“, прибавляетъ Писаревъ („Идеализмъ Платона“, 1861 г.; I, 269—270). Идея эгоизма, объясняетъ Писаревъ въ ту же пору своей жизни (въ статьѣ „Стоячая вода 1861 г.), неразрывно связана съ идеей свободы личности: „эгоизмъ — система умственныхъ убѣжденій, ведущая къ полной эмансипаціи личности“... „Гнетъ общества надъ личностью такъ же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; если бы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣняя свободы своихъ сосѣдей (а это и значитъ, по Писареву, быть эгоистомъ), ...тогда, конечно, были бы устранены причины многихъ несчастій и страданій“, такъ какъ эгоизмъ въ своей основѣ „ставить цѣлью жизни наслажденіе“ (I, 428—430). „Для меня каждый человѣкъ существуетъ настолько, насколько онъ приноситъ мнѣ удовольствія“, находимъ мы въ то же самое время въ письмѣ Писарева къ матери.

На такой узкой и бесплодной точкѣ зрѣнія Писаревъ остановиться не могъ. Принявъ за цѣль удовольствіе, наслажденіе, личную пользу, нѣтъ возможности быть общественнымъ дѣятелемъ и учителемъ (чѣмъ стремился быть и чѣмъ былъ Писаревъ), ибо нѣтъ возможности построить законы и нормы общаго поведения, что всегда является цѣлью учительства. Пришлось идею о личной пользѣ и наслажденіи перенести за предѣлы своей индивидуальности; это было сдѣлано по трафареткамъ Милля, книга котораго „Утилитаризмъ“ сдѣлалась въ то время настольной книгой русскаго интеллигента. Такъ или иначе, но къ 1864 г., т.-е. ко времени появленія статей „Мотивы русской драмы“ и „Реалисты“, взглядъ Писарева уже далекъ отъ наивнаго эгоизма былыхъ годовъ; онъ теперь спѣшитъ указать, что „слово *польза* мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ“... (IV, 95),

онъ вполне признаетъ понятія нравственнаго сознанія и долга (IV, 121—122). Эти новые взгляды заставили Писарева измѣнить свое отношеніе къ другимъ индивидуальностямъ: раньше онъ цѣнилъ ихъ по степени удовольствія и только теперь онъ цѣнитъ въ нихъ индивидуальность; я началъ любить людей вообще, — пишетъ онъ матери въ январѣ 1865 г., — а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла“. Эгоизмъ переработался въ индивидуализмъ.

Такой переходъ, очевидно, отразился на всѣхъ сторонахъ міровоззрѣнія молодого публициста, не ограничиваясь только вопросами этики. Вопросъ о личности и обществѣ тоже претерпѣлъ измѣненіе въ постановкѣ, причѣмъ однако сущность вопроса осталась все той же: эмансипація личности—этому девизу и знамени Писаревъ не измѣнялъ никогда, но въ разныя времена онъ толковалъ его различно и сражался за него разнымъ оружіемъ. Минуя его юношескія пробы пера, въ которыхъ мы не найдемъ ничего особеннаго по этому вопросу, обратимся сразу къ его статьямъ 1861 года: въ нихъ его горячій индивидуализмъ сказался уже съ достаточной очевидностью. Въ статьѣ „Идеализмъ Платона“ Писаревъ стоитъ на ультра-индивидуалистической точкѣ зрѣнія, параллельной его наивному эгоизму того времени. Онъ рѣзко осуждаетъ „генераль-отъ-философіи Платона“ за его нравственную философію и за его теорію государства; всякія абсолютныя нормы должны быть осуждены какъ уродливыя проявленія идеалистической философіи. На этомъ пути субъективизмъ Писарева не знаетъ себѣ границъ; онъ доходитъ до такихъ крайнихъ предѣловъ, что проповѣдуетъ крестовый походъ противъ всякаго идеала. Ни одинъ порядочный медикъ не предпишетъ всѣмъ своимъ паціентамъ общую гигиену, заявляетъ Писаревъ, ни одинъ окулистъ не заставитъ всѣхъ носить одинаковыя очки, ни одинъ сапожникъ не сдѣлаетъ всѣмъ своимъ заказчикамъ сапогъ по одной общей мѣркѣ; такъ „пора же, наконецъ, понять, господа, что общій идеаль такъ же мало можетъ предъявить правъ на существованіе, какъ общія очки или общіе сапоги, сшитые по одной мѣркѣ и на одну колодку... Надо же, наконецъ, понять, что идеаль не есть даже отвлеченное понятіе, а просто сколокъ съ другой личности; всякій идеаль имѣетъ своего автора“... Долой идеалы!—вотъ боевой кличъ ультра-индивидуализма шестидесятыхъ годовъ; за себя Писаревъ вполне ручается: „я себѣ не поставлю впереди никакой цѣли, не дамъ никакой предвзятой идеею“; единственная цѣль, какъ мы уже знаемъ, наслажденіе. „Одни и тѣ же приемы (развитія) не могутъ быть примѣнены даже къ двумъ недѣлимымъ“, если же и

примѣняются, то тогда люди „стараются во имя идеала уничтожить свою личность или тѣ зародыши, изъ которыхъ при благопріятныхъ условіяхъ могла бы развиться самостоятельная индивидуальность“. Такіе люди—мѣщане, и изъ этихъ-то людей и состоитъ современное общество. „Живой человѣкъ съ сожалѣніемъ посмотритъ на такое общество; зачѣмъ, подумаетъ онъ, эти господа добровольно поддерживаютъ придуманные законы, отъ которыхъ каждому отдѣльному лицу приходится терпѣть лишенія? Этотъ вопросъ, вѣроятно, кажется вамъ здравымъ, а между тѣмъ всѣ эти господа, стѣсняющіе свою личную свободу во имя придуманныхъ или наслѣдственныхъ законовъ, всѣ до послѣдняго—идеалисты, хотя конечно многіе изъ нихъ и не слыхали никогда этого слова“. Они принимаютъ общій идеалъ, и стѣсняютъ этимъ собственную личность; отрицая общій идеалъ, Писаревъ съ особенной силой настаиваетъ на возможномъ развитіи собственной индивидуальности: „отвергая общій идеалъ, я не думаю отвергать необходимость и законность самосовершенствованія“, ибо самосовершенствованіе есть неизбѣжный естественный процессъ, такой же, какъ дыханіе или кровообращеніе, такъ что процессъ самосовершенствованія не есть стремленіе къ идеалу и кончится онъ „не тѣмъ, что человѣкъ приблизится къ идеалу, а тѣмъ, что онъ сдѣлается *личностью*, получить разумное право и сознаетъ блаженную необходимость быть самимъ собою“ (I, 265—270).

Какой удивительный клубокъ спутанныхъ понятій, невѣрныхъ взглядовъ и вполнѣ правильныхъ ярко-индивидуалистическихъ воззрѣній! Клубокъ этотъ впослѣдствіи распутало, или, вѣрнѣе, разрубило, какъ Гордіевъ узелъ, критическое народничество семидесятыхъ годовъ; для Писарева же даже въ 1865—1866 г., при совершившейся эволюціи міровоззрѣнія отъ эгоизма къ индивидуализму и отъ догматизма къ критицизму, многое изъ изложеннаго выше осталось непререкаемымъ: прежде всего осталось таковымъ начало личности, а во-вторыхъ—странное пониманіе идеализма. Шутка сказать, наличность общаго идеала есть признакъ мѣщанства! Это удивительное тождество „идеализмъ = мѣщанство“ легло потомъ въ основу писаревщины и привело къ результатамъ, которые рѣзко осудилъ бы учитель и родоначальникъ такого взгляда.

Итакъ, „одни и тѣ же приемы (развитія) не могутъ быть примѣнены даже къ двумъ недѣлимымъ“,—слышали мы только-что отъ Писарева. Интересно съ этой точки зрѣнія нѣсколько остановиться на отношеніи шестидесятниковъ къ вопросу о воспитаніи, тѣмъ болѣе, что на этомъ частномъ случаѣ наглядно выяснится ходъ

развитія русской общественной мысли отъ Чернышевскаго черезъ Добролюбова къ Писареву. Вопросъ о воспитаніи былъ выдвинутъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ Пироговымъ, въ его извѣстныхъ и надѣлавшихъ тогда много шума „Вопросахъ жизни“. Это былъ рѣзкій протестъ противъ крайностей специализаціи, вредныхъ для общества и гибельныхъ для индивидуума; яркимъ motto для всей этой статьи служить слѣдующій характерный діалогъ:

— „Къ чему вы готовите вашего сына?—кто-то спросилъ меня.

— Быть человѣкомъ,—отвѣчалъ я.

— Развѣ вы не знаете, — сказала спросившій, — что людей собственно нѣтъ на свѣтѣ? Это одно отвлеченіе, вовсе ненужное для нашего общества. Намъ необходимы негоціанты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди...

Правда это или нѣтъ?“

Ставя такъ вопросъ, Пироговъ только развивалъ мысль, уже давно высказанную и Герценомъ и Бѣлинскимъ: „быть *человѣкомъ*—значитъ имѣть полное и законное право на существованіе и не будучи ничѣмъ другимъ, какъ только *человѣкомъ*“, — заявлялъ послѣдній изъ нихъ (въ статьѣ о Пушкинѣ, гл. VII; см. также рецензію на стихотворенія Штавера и др.). Конечно, Пироговъ рѣшаетъ вопросъ въ этомъ же направленіи; воспитаніе, говоритъ онъ, прежде всего должно „сдѣлать насъ людьми“, выработать въ насъ личность, или, по выраженію Пирогова, выработать въ насъ внутренняго *человѣка*. „Дайте выработаться и развиться внутреннему *человѣку*, дайте ему время и средства подчинить себѣ наружнаго, и у васъ будутъ и негоціанты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное—у васъ будутъ люди и граждане“ („Морской Сборникъ“ 1856 г., № 5). На этотъ вопросъ, поднятый Пироговымъ, отозвались другъ за другомъ въ теченіе шестидесятыхъ годовъ и Чернышевскій, и Добролюбовъ, и Писаревъ, причемъ всѣ они, конечно, вполнѣ принимали данное Пироговымъ рѣшеніе, т.-е. въ сущности еще рѣшеніе Бѣлинскаго и Герцена; однако каждый изъ нихъ привнесъ въ это рѣшеніе значительную долю собственной личности. Такъ, на примѣръ, Чернышевскій обратилъ главное вниманіе на отрицательное отношеніе къ специализаціи и вполнѣ раздѣлил его: онъ убѣжденъ въ необходимости того, чтобы „общечеловѣческое образованіе играло главную роль въ воспитаніи“ („Современникъ“ 1856 г., № 8); но онъ не обратилъ вниманія на слова Пирогова о необходимости развитія „внутренняго *человѣка*“ (т.-е. „личности“) прежде развитія „*человѣка* внѣшняго“ (т.-е. „*человѣка*“). Добролюбовъ обра-

тилъ на это большее вниманіе. Разбору взглядовъ Пирогова онъ посвятилъ цѣлую статью („О значеніи авторитета въ воспитаніи“, 1857 г.), останавливаясь главнымъ образомъ на недостаткахъ современнаго воспитанія, не обращающаго вниманія на индивидуальность, и отодвигая на второй планъ вопросъ о спеціализаціи (ибо уже слишкомъ очевидно, что на него нѣтъ другого отвѣта, кромѣ вполнѣ отрицательнаго). Главная задача педагогики, по мнѣнію Добролюбова, заключается въ возможно полномъ развитіи индивидуальности, а потому всякіе способы приниженія личности ребенка — будь то авторитетъ, спеціализація, наказаніе и тому подобныя факторы — должны быть безусловно осуждены. „Мы требуемъ, — заканчиваетъ Добролюбовъ, — чтобы воспитатели выказывали болѣе уваженія къ человѣческой природѣ и старались о развитіи, а не о подавленіи *внутренняго челоѵка* въ своихъ воспитанникахъ“ ... (I, 212). Добролюбовъ ставитъ вопросъ шире, чѣмъ это сдѣлалъ Чернышевскій, обратившій главное вниманіе на отрицательныя стороны спеціализаціи; онъ понимаетъ, что не въ одной спеціализаціи дѣло и что она есть только одна изъ многихъ отрицательныхъ сторонъ болѣе общаго вопроса — подавленія дѣтской индивидуальности. Писаревъ пошелъ гораздо дальше Чернышевскаго и Добролюбова; онъ уже не останавливается на осужденіи спеціализаціи, не доказываетъ, что задача воспитанія — развитіе „внутренняго челоѵка“: все это для него слишкомъ азбучныя истины. Онъ только мимоходомъ наноситъ нѣсколько ударовъ „кретинизирующей дѣятельности“ спеціализаціи и „умственному кастратству“ спеціалистовъ; онъ на сторонѣ профановъ и дилетантовъ, ибо дилетантизмъ есть только „сопротивленіе добросовѣстному стремленію поглупѣть“ (I, 366; III, 18, 47—8; IV, 588—590). Но Писаревъ не останавливается на этомъ. Онъ идетъ дальше — и совершенно отрицаетъ всякое воспитаніе, какъ насиліе надъ личностью. Воспитывать — это значить „врываться въ интеллектуальный міръ другого челоѵка съ своей инициативой“, а это „безчестно и нелѣпо“: безчестно потому, что, „воспитывая нашихъ дѣтей, мы втискиваемъ молодую жизнь въ тѣ уродливыя формы, которыя тяготѣли надъ нами; мы поступаемъ такимъ образомъ съ такими личностями, которыя сами не могутъ еще ни подать голоса, ни заявить протеста; мы безъ спросу мнемъ чужія личности и чужія силы“; а нелѣпо потому, что хозяинъ, вступивъ во владѣніе, непременно разрушитъ выстроенное нами зданіе, тѣмъ болѣе, что это зданіе часто бываетъ выстроено изъ сплошной лжи. „Природа даетъ дѣтямъ молочные зубы, которые потомъ выпадаютъ и замѣ-

няются настоящими. Ну, а мы — должно быть для симметрии — вкладываемъ имъ въ голову молочныя идеи, которыя потомъ также выпадаютъ и также замѣняются настоящими“. Но и независимо отъ этого, каждый долженъ уважать индивидуальность ребенка, а потому и совершенно отказаться отъ воспитанія; ребенокъ долженъ все критически переработать самъ въ своей душѣ. „Человѣкъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ, начиная съ той минуты, когда ребенокъ почувствовалъ свое я и отдѣлил себя отъ окружающаго міра. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи“... а потому „умный и широко развитый человѣкъ никогда не рѣшится воспитывать ребенка“... Вся задача воспитателя будетъ сводиться къ доставленію ребенку физической безопасности и пищи, а главнымъ образомъ — матеріаловъ духовныхъ, мысли для переработки. Роль воспитателя — въ высокой степени пассивная, а не активная (I, 424, 507—8; III, 72—74; IV, 204, 588, 561; VI, 312 и др.).

Мысли Писарева о воспитаніи показываютъ въ немъ горячаго борца за человѣческую индивидуальность; въ то же самое время видно, до какого крайняго логическаго предѣла доводилъ онъ положенія своихъ предшественниковъ, Бѣлинскаго, Герцена, Чернышевскаго и Добролюбова. Стоило сдѣлать еще одинъ шагъ, чтобы упереться въ безвыходный тупикъ, какъ это и случилось съ „нигилистами“ конца шестидесятыхъ годовъ, для которыхъ „писаревщина“ была символомъ вѣры. Мы познакомимся съ ними нѣсколько ниже, а теперь продолжимъ наше знакомство съ дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ Писарева на личность; взгляды эти особенно ярко сказались въ уже не разъ упомянутой статьѣ „Схоластика XIX вѣка“, предисловіемъ къ которой послужила его диссертация объ „Аполлоніи Тианскомъ“ (конца 1860 г.). Въ этой диссертации Писаревъ относится вполне враждебно къ „генераль-отъ-философіи“ Платону, равно какъ и къ Аристотелю, такъ какъ они „оба жертвуютъ отдѣльною личностью во имя цѣлаго“ и смотрятъ на человѣка, какъ на винтъ общественнаго организма; Аристотель хотя и вступаетъ за личность, но отстаиваетъ ее „не для нея самой, а для государства“... Однимъ словомъ, даже Аристотель „не возвысился до понятія человѣческой личности“ (это сдѣлали, по мнѣнію Писарева, гедонисты киренейской школы) и признавалъ, что заслуживаютъ вниманія „не отдѣльныя личности гражданъ, а весь организмъ государства“; прогрессъ въ такомъ государствѣ нежелателенъ, такъ какъ Аристотель „считалъ человѣческую личность частью и, слѣдовательно, не

могъ желать развитія части, потому что такое развитие могло нарушить гармонию цѣлаго“ (II, 14—22). Вѣрно или невѣрно понималъ Писаревъ Аристотеля — вопросъ второстепенный; важно то, что изъ всего предыдущаго вполне выясняется отрицательное отношеніе Писарева къ органической теоріи общества, и болѣе того — ко всѣмъ теоріямъ, ставящимъ человѣка выше личности. Чернышевскій развивалъ теоріи „русскаго социализма“ въ то самое время, какъ молодой Писаревъ свысока отзывался „о несбыточныхъ и оскорбительныхъ для личности человѣка утопіяхъ коммунизма“ (II, 123). Ультра-индивидуализмъ Писарева не высказывался въ чистомъ видѣ въ этой официальной работѣ, но его отзывы о личности и обществѣ явно вскрывали его симпатіи (см. II, 96, 101 и др.).

Дальнѣйшее развитіе взглядовъ, выраженныхъ въ диссертациі и въ статьѣ о Платонѣ, мы найдемъ въ „Схоластикѣ XIX вѣка“ (1861 г.); только здѣсь мы уже встрѣтимъ болѣе подробную формулировку идей, высказанныхъ въ предыдущихъ статьяхъ. Задача литературы — эмансипація личности; литература должна „всѣми своими силами эмансипировать человѣческую личность отъ тѣхъ разнообразныхъ стѣсненій, которыя налагаютъ на нее робость собственной мысли, предразсудки касты, авторитетъ преданія, стремленіе къ общему идеалу“ (I, 339). Робость мысли часто бываетъ слѣдствіемъ авторитета преданія, что же касается касты, которыя имѣютъ мѣсто и въ русской интеллигенціи, то онѣ не что иное, какъ „систематическое подавленіе всякой личной оригинальности“ (IV, 238), хотя ихъ историческое значеніе, быть можетъ, и велико (V, 347 — 354); наконецъ, общій идеалъ является несомнѣннымъ тормазомъ личности, — это Писаревъ уже считаетъ доказаннымъ въ своей статьѣ объ „Идеализмѣ Платона“. Наша художественная литература всегда преслѣдовала цѣль, указываемую Писаревымъ: „наши художники говорятъ за человѣка, за самородныя и неотъемлемыя свойства и права его личности, ... только интересы человѣческой личности волнуютъ и потрясаютъ впечатлительные нервы художника“ ... „Наша изящная словесность обращаетъ свое вниманіе не столько на общество, сколько на человѣческую личность“ ... (I, 471 и 344); публицистика и критика еще не дошли до такого индивидуализма. Впрочемъ, и онѣ не могутъ обращать особеннаго вниманія на „общество“, ибо у насъ оно не существуетъ: есть только рядъ разрозненныхъ кружковъ, каждый со своими взглядами и идеалами (I, 344—5. Отчего однако это не правится Писареву, если общій идеалъ такъ же невозможенъ, какъ общія очки?..). Отчасти по этой

причинѣ, отчасти же и по другимъ, коренящимся въ самихъ условіяхъ человѣческой природы, критика должна быть пронизана крайнимъ субъективизмомъ; общаго критерія нѣтъ и быть не можетъ, также какъ и общаго идеала: „личное впечатлѣніе и только личное впечатлѣніе можетъ быть мѣриломъ красоты“ (I, 353), поэтому задача критика—давать публикѣ отчетъ о личномъ своемъ впечатлѣніи. Никакихъ общихъ идеаловъ, никакихъ общихъ теорій! Долой теоріи!—вотъ второй боевой кличъ Писарева, также какъ и первый (долой идеалы!) вполне усвоенный писаревщиной и доведенный ею до крайнихъ логическихъ предѣловъ. „...Было бы очень хорошо—заявляетъ Писаревъ—если бы вѣра въ необходимость теоріи была подорвана въ массѣ читающаго общества. Строго проведенная теорія непременно ведетъ къ стѣсненію личности, а вѣрить въ необходимость стѣсненія значитъ смотрѣть на весь міръ глазами аскета и истязать самого себя изъ любви къ искусству“ (I, 354). „Теорія“, „убѣжденія“, „принципы“—все это пережитки понятій долга и нравственнаго сознанія, все это непременно принадлежитъ столь ненавистнаго Писареву „идеализма“. „Идеалисты.... готовы все сломать передъ своимъ убѣжденіемъ—и чужую личность, и свои интересы... (Они) рѣшительно не хотятъ и не умѣютъ взять въ толкъ, что человѣкъ всегда дороже мозгового вывода...“ (II, 419). Такимъ образомъ базируясь на индивидуализмъ, Писаревъ совершенно отрицаетъ возможность и необходимость теорій: вѣдь теорія есть не что иное, какъ система воззрѣній, „а воззрѣнія не могутъ быть ни истинны, ни ложны: есть мое, ваше воззрѣніе, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждаго свое“... (I, 375). Вотъ почему Писаревъ отказывается отъ задачи доказывать читателю вѣрность своихъ взглядовъ и убѣжденій; къ тому же „умственная и нравственная пропаганда есть до нѣкоторой степени посягательство на чужую свободу“ (I, 369). Дальше этого въ субъективизмъ и ультраиндивидуализмъ некуда было идти; теорія, отрицающая теорію, воззрѣніе, отрицающее истинность воззрѣній, на томъ основаніи, что нѣтъ двухъ тождественныхъ индивидуальностей—это уже заколдованный кругъ, это сказка о журавлѣ въ болотѣ: носъ вытащилъ—хвостъ увязъ, хвостъ вытащилъ—носъ увязъ... Критика, считающая своей задачей пересказъ личныхъ впечатлѣній и не желающая устанавливать и доказывать своей точки зрѣнія, чтобы не посягать на свободу чужой индивидуальности—это въ нѣкоторомъ родѣ „чистая критика“, „критика для критики“; критикъ пописываетъ, читатель почитываетъ, и оба довольны такимъ мозговымъ пищевареніемъ.

Вся эта нездоровая часть теорій Писарева цѣликомъ вошла въ воззрѣнія его учениковъ и послѣдователей; писаревщина—это развитіе идей, высказанныхъ Писаревымъ именно въ эту пору его дѣятельности, въ пору наивнаго эгоизма, ультра-индивидуализма и субъективизма. Ученики постарались довести до абсурда и безъ того крайнія положенія учителя; но надо прибавить, что самъ Писаревъ никогда не держался и не проводилъ такихъ теорій. Каждая его статья — убѣжденное и блестящее доказательство лежащей въ ея основѣ мысли; въ каждой замѣтно стремленіе къ общему идеалу, который является критеріемъ. Какъ Писаревъ могъ не замѣтить, что его требованіе „эмансипаціи личности“, его крайній индивидуализмъ является именно „общимъ идеаломъ“ и критеріемъ, противъ которыхъ онъ возставалъ столь горячо? Онъ не замѣтилъ этого сначала, также какъ не замѣтилъ, что въ своемъ крайнемъ субъективизмѣ онъ только повторяетъ основныя положенія „идеалиста“ Бѣлинскаго въ періодѣ его фиктианства.

Какой громаднй шагъ назадъ сдѣлала русская критика за десять лѣтъ, протекшихъ со дня смерти Бѣлинскаго — и это въ эпоху, казалось бы, расцвѣта критики, въ эпоху Чернышевскаго, Добролюбова, Писарева! Чтобы впослѣдствіи не возвращаться къ этому вопросу, напомнимъ вкратцѣ здѣсь исторію развитія русской критики, тѣсно связанную съ исторіей развитія русской общественной мысли. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ, въ періодъ своего фиктианства, Бѣлинскій хотя и оговаривался, что „субъективное мнѣніе критика не есть истина“, но все же склоненъ былъ думать, что „дѣло критики есть отдѣленіе красотъ отъ недостатковъ въ произведеніи искусства, а мѣрка при этомъ химическомъ процессѣ — личное ощущеніе критика“ („О романахъ Лажечникова“). Отъ этой крайности эпохи фиктианства Бѣлинскій перешелъ къ обратной крайности въ періодѣ своего гегельянства. Теперь, по мнѣнію Бѣлинскаго, всякое литературное явленіе должно служить только „средствомъ для приложенія общихъ законовъ къ частному явленію“; главный предметъ критики — „идеи, какъ первообразы вѣчныхъ и непреходящихъ законовъ разума“, личное же, индивидуальное мнѣніе и чувство критика совершенно не допускаются, такъ какъ до „случайнаго убѣжденія случайной личности... никому нѣтъ дѣла“ и такъ какъ индивидуальность „сама по себѣ очень неважная вещь“; все должно быть основано на общей мысли, которая основывается „на собственномъ внутреннемъ развитіи изъ самой себя, по законамъ логики“ („Очерки Бородинскаго сраженія“). Мы знаемъ, что крайности фиктианскаго

ультра-индивидуализма и гегельянскаго анти-индивидуализма Бѣлинскій сумѣлъ синтезировать въ сороковыхъ годахъ, въ третьемъ, наиболѣе блестящемъ періодѣ своей дѣятельности; въ это время онъ высказывалъ и свое окончательное сужденіе о роли и значеніи критики (въ статьяхъ о Пушкинѣ, гл. V, и въ статьѣ по поводу „Рѣчи о критикѣ“ Никитенко). Теперь Бѣлинскій одинаково вооружается и противъ „субъективной“ и противъ „объективной“ критики въ ея крайнихъ проявленіяхъ, особенно противъ первой. „Нельзя ничего ни утверждать, ни отрицать на основаніи личнаго произвола, непосредственнаго чувства или индивидуальнаго убѣжденія: судъ принадлежитъ разуму, а не лицамъ“, заявляетъ Бѣлинскій, называя представителей такой субъективной критики „добродушными невѣждами“ — если эта критика искренна, и „литературной саранчой“ — если она пристрастна. Но въ то же время Бѣлинскій отрицательно относится къ идеѣ абсолютной объективности критики: для него вполне очевидно, что критика — не математика, не можетъ и не должна быть ею; крайній субъективизмъ въ критикѣ ведетъ, по его мнѣнію, къ бессистемности и произволу, крайній объективизмъ — къ подавляющей все живое теоретичности. Безопасный проходъ „между Сциллой бессистемности и Харибдой теорій“ Бѣлинскій видитъ въ синтезѣ объективности общаго основанія съ субъективностью личнаго впечатлѣнія критика. На этой точкѣ зрѣнія Бѣлинскій твердо стоялъ до самаго конца своей критической дѣятельности.

Чернышевскій, Добролюбовъ и Писаревъ повторили въ обратномъ порядкѣ вышеописанный процессъ развитія мыслей Бѣлинскаго. Чернышевскій является въ области критики вѣрнымъ ученикомъ и сторонникомъ идей третьяго періода дѣятельности Бѣлинскаго; это достаточно ясно хотя бы изъ однихъ его „Очерковъ гоголевскаго періода“. Добролюбовъ замѣтно склонялся, особенно въ своихъ позднѣйшихъ статьяхъ, къ чистому объективизму въ критикѣ и часто лишь съ трудомъ избѣгалъ „Харибды теоретичности“. Наоборотъ, Писаревъ, какъ мы видѣли, былъ окончательно поглощенъ „Сциллой бессистемности“ и, ничтоже сумняся, проповѣдывалъ идеи эпохи фиктианства Бѣлинскаго... Русская „критическая“ (въ буквальномъ значеніи) мысль завершила кругъ своего развитія и пришла къ своей исходной точкѣ.

Самъ Писаревъ скоро увидѣлъ, въ какой тупикъ завела его теорія чистаго субъективизма въ критикѣ; и мы увидимъ, что впоследствии онъ самъ иронизировалъ надъ этой своей точкой зрѣнія, давая ей обидную кличку „эстетизма“. Но это было уже въ 1865 г.,

а теперь, въ „Схоластиѣ XIX вѣка“, Писаревъ держался именно такого взгляда. Надо замѣтить, что въ это время онъ, быть можетъ, безсознательно реагируя противъ крайности добролюбовскаго объективизма, только потому и былъ поглощенъ Сциллой безсистемности, что впалъ въ крайности борьбы съ Харибдой теоретичности. И поскольку онъ борется съ послѣдней—онъ стоитъ на вѣрной почвѣ, хотя его нападки на теорію и не выдерживаютъ критики. Теоретичность—это стремленіе втиснуть все существующее въ рамки одной теоріи, одного принципа, это—желаніе построить не теорію по окружающей дѣйствительности, а дѣйствительность по предвзятой теоріи; теоретичность поэтому всегда узка, плоска и абстрактна. Теоретичностью отличалось, на примѣръ, либеральное доктринерство, равно какъ и всѣ теоріи, игнорирующія реальную личность ради абстрактнаго человѣка. Такія абстрактныя теоріи человѣческаго блага должны быть безпощадно отринуты главнымъ образомъ „во имя цѣлостности человѣческой личности“ и принципа индивидуализаціи (I, 366). Этотъ принципъ—прежде всего и выше всего: „уважайте въ себѣ и въ другихъ человѣческую личность“ (I, 349), такъ какъ личность—послѣднее слово человѣческой культуры. И въ слѣдующихъ словахъ Писаревъ вскрываетъ основную мысль всей своей статьи: „эмансипація личности и уваженіе къ ея самостоятельности является послѣднимъ продуктомъ позднѣйшей цивилизаціи. *Дальше этой цѣли мы еще ничего не видимъ въ процессъ историческаго развитія*“... (I, 359; курсивъ нашъ). Это не мѣшаетъ Писареву черезъ нѣсколько страницъ утверждать: „я вижу въ жизни только процессъ и устраняю цѣль и идеаль“ (I, 369),—но дѣло не въ этихъ противорѣчійхъ. Мы видѣли, что устраненіе цѣли, идеала и теоріи—это теорія Писарева, которую онъ высказалъ, которую предоставилъ въ полное пользованіе своихъ послѣдователей, и которой онъ не держался; наоборотъ, у него была цѣль, былъ идеаль—идеаль эмансипаціи личности, цѣль достиженія возможно широкаго индивидуализма. Въ этомъ онъ былъ вѣренъ самому себѣ во все время своей дѣятельности; онъ могъ заблуждаться и заблуждался—на примѣръ, въ рѣзкомъ ультра-индивидуализмѣ и субъективизмѣ первыхъ годовъ,—но „общій идеаль“ все время твердо оставался въ его владѣніи.

Крайніе взгляды Писарева достигаютъ своего кульминаціоннаго пункта въ статьѣ „Базаровъ“ (1862 г.). Романъ Тургенева, какъ извѣстно, послужилъ поводомъ для генеральнаго сраженія между „Современникомъ“ и „Русскимъ Словомъ“, изъ которыхъ первый считалъ Базарова жалкой и лживой пародіей на передовую моло-